ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ АНГЛИЧАНКИ...

ЭЛИЗАБЕТ ГАСКЕЛЛ
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ
МЮРИЕЛ СПАРК
ФЭЙ УЭЛДОН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Русский перевод эссе Вирджинии Вулф о женщинах в литературе — "A Rome of One's Own". В основу эссе легли два доклада, с которыми писательница выступила в октябре 1928 года перед студентками английских колледжей.

- Глава I[1]
- ГЛАВА 2
- ГЛАВА 3
- ГЛАВА 4
- ГЛАВА 5
- ГЛАВА 6
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Глава I[1]

При чем здесь своя комната? — спросите вы, — мы же просили рассказать о женщинах и литературе. Я попытаюсь объяснить. Когда мне предложили выступить с темой «Женщины и литература», я села у реки и задумалась, что понимать под этими словами. Несколько замечаний о Фанни Берни и о Джейн Остен, дань уважения сестрам Бронте и история заснеженного Хоуорта, пара остроумных высказываний о мисс Митфорд, почтительный намек на Джордж Элиот, ссылка на госпожу Гаскелл — и вопрос исчерпан? Но если вдуматься, проблема женщин и литературы куда сложней. Под ней можно понимать, как вы, наверно, и предполагали, разные вещи: какие они, женщины, или о чем они пишут, или что пишут о них, или же все эти три вопроса хитро переплетены, и вы ждете от меня разбора темы во всей полноте. Последний путь казался самым заманчивым, и я уже было задумалась над ним — но тут мне открылась непреодолимая пропасть. Идя этим путем, я никогда не смогу прийти к окончательному выводу. Не смогу исполнить первую обязанность лектора — вручить вам драгоценный слиток истины, который вы унесли бы в своих блокнотах и положили навсегда на мрамор камина. Я могу только высказать свое мнение об одной стороне дела: у каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната — но и это, как вы убедитесь, не ответ на фундаментальный вопрос об истинной природе женщин и сути литературы. Я так и не пришла к окончательному выводу — женщины и литература остаются у меня по-прежнему открытой проблемой. Но чтобы как-то оправдать ваши ожидания, я постараюсь показать вам, что привело меня к этому мнению о своей комнате и деньгах. Проведу вас без утайки по всему лабиринту моей мысли. И может быть, когда раскроются стоящие за этим мнением идеи и предрассудки, вы решите, что не так уж они далеки от женщин и литературы. В спорных вопросах — а проблемы пола все таковы — в одиночку не найти истины. Можно только показать, как сложилось собственное мнение. И пусть слушатели сами делают выводы, подмечая за оратором его непоследовательность, его пристрастия, слабинки. Вымысел в этом случае может оказаться ближе к правде, чем факт. Поэтому я и хочу воспользоваться правами и всей свободой романиста и рассказать, как незадолго до прихода сюда я мучилась два дня поставленным вопросом, поворачивая его так и эдак в свете будней. Нужно ли говорить, что описанного ниже нет на самом деле, Оксбридж и Фернхем —

выдумка, как и «я» — безымянное, вымышленное лицо. С моих губ то и дело будут срываться небылицы, но в них может оказаться и доля правды: вы сами найдете ее и решите, стоит ли из нее что-то оставить. Если нет — вы просто бросите все в мусорную корзину и забудете.

Итак, неделю или две назад ясным октябрем сидела я в раздумье у реки (кто «я» — неважно, зовите меня Мери Бетон, Мери Сетон, Мери Кармайкл или как угодно). Проклятый вопрос, на который я должна ответить — женщины и литература, этот объект столкновения людских предубеждений и страстей, — притянул, словно хомут, мою голову к земле. Справа и слева от меня жгуче пламенели багрянцем и золотом какие-то кусты. На дальнем берегу застыли в вечном плаче ивы, распустив волосы. Река своевольно отражала что-то от неба, и моста, и горящего дерева, а когда по отражениям прогреб в лодке студент-выпускник, воды сомкнулись, словно никого и не было… Там, на берегу, любой сидел бы себе целый день и думал. А дума (хотя это слишком громко сказано) уже забросила свою ниточку в струю. Долго качалась туда и сюда среди отражений и водорослей, всплывая и снова уходя под воду, как вдруг… знаете легкий толчок, внезапность блеснувшей мысли? И затем осторожное извлечение ее на свет и придирчивый осмотр? Увы, при свете дня она оказалась пустяком, мелочью — хороший рыбак такую не возьмет, а пустит обратно в воду, чтоб нагуляла вес. Сейчас я вас не буду беспокоить этой мыслью, но если вы приглядитесь, то сами выудите ее из рассказа.

При всей малости в ней было что-то таинственное — стоило ей вернуться в свою стихию, как она вмиг стала значительной, захватывающей, устремилась вперед, ушла вглубь, сверкнула там и здесь — в общем, подняла во мне такую бурю идей, что не усидеть. И в следующую минуту я уже стремительно шла через газон. Незамедлительно навстречу мне поднялась мужская фигура. Правда, вначале я не поняла, к кому обращены жестикуляции курьезного субъекта в визитке и фрачной рубашке. Его лицо выражало ужас и возмущение. И тут во мне сработал инстинкт: он же педель \ая женщина. Здесь трава, там дорожка. По лужайкам разрешается гулять Членам Университетского Совета, мне же — исключительно по дорожке. Эти мысли пронеслись в голове в одну секунду. Я вернулась назад — педель сразу опустил руки, лицо его приняло обычное скучающее выражение, и, хотя по траве ходится лучше, чем по гравию, лужайка почти не пострадала. Одно жаль: защищая свой клочок травы, который, кстати, холят уже три столетия подряд, университетские мужи расстроили мне рыбалку.

Сейчас уже не вспомнить, повинуясь какой мысли я шагнула на газон. На меня вдруг сошел благодатью дух умиротворения, обитающий исключительно на четырехугольных дворах Оксбриджа в ясные октябрьские утра. Среди этих древних университетских стен шероховатости жизни как бы сглаживаются. Тело словно упрятано в чудесный звуконепроницаемый футлярчик из стекла, и освобожденная от постороннего вмешательства фактов мысль вольна предаться любой игре, созвучной настроению (пока кого-нибудь опять не занесет на газон). В памяти всплыло старинное эссе о том, как кто-то давно (уж не Чарлз ли Лэм?) посетил в каникулы Оксбридж. «Святой Чарлз», — говорил Теккерей, благоговейно поднося ко лбу его письмо. В самом деле, среди мертвых (я передаю мысли, как они приходили мне в голову) Лэм один из самых близких: любой захочет спросить его — как же вы писали свои эссе? С ними не сравнятся даже безупречные бирбоумовские, а все из-за бешеного фейерверка фантазии, тех гениальных озарений Лэма, которые светом поэзии наполняют его, пусть в чем-то несовершенные, эссе. Лэм приезжал в Оксбридж сто лет назад. И точно написал эссе — не помню названия — о рукописи одного стихотворения Мильтона, которую увидел там в библиотеке. Кажется, это был «Ликид», и Лэм писал, какой священный ужас вызывала у него мысль, что в рукописи этого бессмертного творения могли сначала стоять другие слова. Ему казалось святотатством представить Мильтона за правкой этого стихотворения. От нечего делать я попробовала вспомнить что-нибудь из «Ликида» — интересно, какое слово мог бы переправить Мильтон и почему? Но зачем гадать? Рукопись, которую держал в руках Лэм, всего в нескольких ярдах от меня; можно спокойно пройти по его следам через двор к библиотеке, где хранится это сокровище. Кстати, там же, вспомнила я, осуществляя свой план, и рукопись теккереевского «Эсмон-да». Критики часто говорят, что «Эсмонд» — его лучший роман. Но, по-моему, претенциозность стиля, подражание манере восемнадцатого века затрудняют читателя, хотя, возможно, для Теккерея стиль восемнадцатого века естествен — просто нужно взять его рукопись и посмотреть, стилевые там поправки или смысловые. Только прежде надо решить, что такое стиль и что такое смысл… впрочем, я уже у двери в знаменитую библиотеку. Видимо, я машинально ее открыла, потому что в ту же секунду передо мной возник, словно ангел-хранитель, преграждая путь взмахами черной мантии, добренький седой старичок: выпроваживая меня, он ласково объяснял, что дамы в библиотеку допускаются только в обществе Члена Университетского Совета или с рекомендательным

письмом.

Для знаменитой библиотеки пустой звук, что какая-то женщина послала ее к черту. Спокойная за свои сокровища, надежно спрятанные в подземельях, она благодушно спит и с этой минуты заснула для меня навсегда. Ноги моей здесь больше не будет, сердито клялась я, сходя с крыльца. И все же еще целый час до завтрака, и чем заняться? Гулять? Сидеть у реки? Нет ничего проще: все то же чудесное осеннее утро, листья падают красными перышками на землю. Но тут я услышала музыку. Видно, в часовне начиналась служба или какая-то церемония. Когда я подошла, орган многоголосо взывал, но в ясном воздухе даже многовековая скорбь христианства растворялась воспоминанием — казалось, и древний инструмент вздыхает как-то умиротворенно. Входить в часовню не хотелось: здесь тоже мог остановить служка, прося показать свидетельство о крещении или рекомендацию Декана. И потом, фасады этих грандиозных построек не менее великолепны, чем их интерьер. Да и занятно понаблюдать за прихожанами, как они собираются, входят, выходят, хлопочут у двери часовни, точно пчелы перед летком улья. Многие в мантиях и шапочках, кое-кто с кисточками. Некоторые в инвалидных колясках, другие — помоложе — уже сплюснуты и втиснуты в формы настолько редкостные, что невольно вспоминались гигантские крабы и лангусты, с трудом передвигающиеся по дну аквариума. Я прислонилась к стене — Университет и в самом деле казался заповедником редких экземпляров, которые давно вымерли бы, оставь их бороться за жизнь на общей мели. Вспомнились старые истории о деканах, о профессоре, который, услыхав свист, моментально переходил на галоп… и мне страшно захотелось засвистеть, но только я собралась с духом, как почтенная паства скрылась за дверями старой часовни. Теперь постройка была видна мне вся. Вы знаете — ее освещенные ночью купола и башни стоят над холмами, точно мачты застывшего парусника. Когда-то на месте этого четырехугольного двора с ровными клумбами, монолитными зданиями и часовней было болото, заросшее травой, изрытое кабанами. Потом из дальних графств потянулись воловьи и лошадиные упряжки со строительным камнем, и затем эти серые блоки, в тени которых я сейчас стояла, начали устанавливать с великим тщанием один на другой. Художники изготовили стекло для окон, и вот уже наверху застучали мастерками, засновали с цементом и замазкой каменщики. Каждую субботу чья-то рука, наверное, отсыпала им в истертые ладони серебро и золото из кожаного кошелька — должны же они были вечером иметь свои пиво и кости. В этот двор нескончаемым потоком сыпалось

золото, подумала я, чтобы камень подвозили без задержки, чтобы строители работали: ровняли, окапывали, рыли и осушали. То был век веры, и денег на закладку прочного фундамента не жалели, и, когда наконец стены были возведены, из кофров королей, королев, вельмож посыпалось еще больше золота — в этих стенах должны были петь гимны и изучать латынь. Короли жаловали земли, монастыри платили десятину. Потом век веры истек, наступил век разума, но поток золота и серебра не оскудел, стипендии и лектуры жаловались по-прежнему щедро. Только изливался весь этот блеск уже не из королевской казны, а из сундуков купцов и фабрикантов, из кошельков людей, которые, скажем, сколотили себе состояние в промышленности, а потом в своих завещаниях воздали сторицей родному университету за науку — новыми стипендиями, новыми кафедрами и лектурами. Отсюда библиотеки и лаборатории, обсерватории, великолепные кабинеты с тончайшими дорогими приборами в стеклянных шкафах — хотя всего несколько веков назад на этом самом месте колыхалось море травы и рылись кабаны. Конечно, фундамент из золота и серебра выглядит внушительно, думала я, обходя университетский двор, из-под асфальта не видно дикой травы. По лестницам бегали мужчины с подносами. На окнах в ящиках рдели пышные цветы. Из внутренних комнат неслись звуки граммофона. Я подумала было… но тут пробили часы, и я потеряла свою мысль. Пора было идти завтракать.

Все же любопытно, как романисты всегда стараются внушить нам, будто главное на званом завтраке — чьи-то блестящие остроты или умные речи. Редкий писатель обмолвится о еде. Такое впечатление, что они никогда не курили сигар, не пили вина и настолько привыкли к супу из семги и жаркому, что договорились не упоминать о них. Сегодня я нарушаю этот молчаливый договор и объявляю, что торжество началось с большого блюда морских языков под белоснежным покрывалом сливок, опаленным там и сям коричневыми пятнышками, как у пятнистого оленя. Затем подали куропаток, но, если при этом слове вам почудилась пара тощих пережаренных птиц на тарелке, вы ошиблись. Куропатки разных пород достойно шествовали, сопровождаемые свитой салатов, острых и сладких соусов, строго по этикету. Рассыпчатый картофель нарезан не толще монеты, сочные головки брюссельской капусты уложены розанчиками. И едва мы одолели жаркое с его пышной свитой, как молчаливый слуга — уж не смягченный ли вариант того педеля? — поставил перед нами завернутое в салфетки сладкое: оно вскипало розовой глазурью. Назвать его пудингом, поставив в один ряд с низкородными рисом и тапиокой, было бы оскорблением. Тем

временем бокалы успели уже несколько раз вспыхнуть желтым, малиновым, осушиться и снова наполниться. И постепенно там, внутри, где у человека душа, затеплился свет — не напряженный, наэлектризованный блеск, а ровное, глубокое тепло духовного общения. Не надо горячиться, блистать. Быть собой — и только. Мы все на верху блаженства, и нам улыбается Ван Дейк — другими словами, жизнь кажется прекрасной, ее награды — чудесными, обиды и зависти — таким пустяком в сравнении с дружбой и человеческим общением, когда, закурив хорошую сигарету, откидываешься на мягкие подушки у окна.

К сожалению, под рукой не оказалось пепельницы и пришлось украдкой стряхивать пепел в окно — если б не это маленькое обстоятельство, никто б, наверно, не заметил бесхвостую кошку. Внезапное появление этого куцего зверька на университетской лужайке изменило разом мой праздничный настрой. Точно на все легла тень. Или отличное вино постепенно ослабляло чары? Не знаю, но, когда я увидела в центре газона застывшую бесхвостую кошку, будто о чем-то вопрошающую мир, я ощутила какую-то пустоту, потерю. Но с чего вдруг? — спросила я, прислушиваясь к разговору гостей. И чтобы ответить себе на этот вопрос, я должна была выйти мысленно из комнаты и вернуться в прошлое — в довоенные годы — и вспомнить атмосферу тех прошлых званых завтраков. Комнаты были вроде этих, но все остальное, казалось мне, было другим. Сейчас рядом со мной шумела молодая компания, мужчины, женщины, разговор шел гладко, свободно, как бы шутя. Я невольно сравнивала сегодняшнюю беседу с теми довоенными встречами и в какую-то минуту решила, что мои сомнения напрасны: тот разговор и нынешний — родные братья. Все по-старому, только вот… и я стала напряженно вслушиваться в журчащий за словами поток. Да, вот оно, вот что изменилось. До войны на таких званых завтраках люди говорили вроде то же самое, но звучало это иначе из-за мелодичного, волнующего, невнятного напева, который был дороже любых слов. Можно ли его выразить? Думаю, что да — с помощью поэтов. Я открыла лежащую рядом книгу и случайно попала на Теннисона. Он пел:

С гелиотропа у ограды
Упала светлая слеза.
Ко мне, моя любовь, отрада,
Ко мне, мой день, моя судьба.
Роза кричит: «Она ближе, ближе»,
И плачет другая: «Ушла».
Шпорник кивает: «Я слышу, слышу»,

И лилия шепчет: «Сюда»[1].

Неужели мужчины напевали это на званых завтраках перед войной? А женщины?

Мое сердце ликует, как птица,
Что свила гнездо у стремнины,
Мое сердце, как яблоня, — низко
Клонит ветви с плодами литыми,
Мое сердце — как теплая раковина,
Что играет радугой в море,
Мое сердце — воля и радость
От любви, нахлынувшей полно.[2]

Неужели женщины это напевали на званых завтраках перед войной?

Это показалось мне до того забавным, что я рассмеялась и, чтобы как-то объяснить свой смех, показала гостям на бесхвостую кошку за окном — бедняга и в самом деле выглядела нелепо. Она уродилась такой или это несчастный случай? На острове Мэн есть бесхвостые кошки, но они редкостней, чем мы думаем. Это странное животное, больше чудное, чем красивое. Все-таки удивительно, как много значит «хвостик» — слова, что люди говорят друг другу на прощанье, одеваясь в передней.

В этот день завтрак у гостеприимных хозяев затянулся. Чудесный октябрьский день уже увядал, когда я шла по аллее к выходу. За моей спиной смыкались ворота, повсюду щелкали хорошо смазанные замки: педели прятали свою сокровищницу на ночь. Сразу за аллеей начинается дорога — если пойти по ней и не спутать поворот, попадешь в Фернхем. Впрочем, куда спешить, обед будет не раньше половины восьмого. Да и вряд ли захочется есть после такого сытного завтрака. А клочок поэзии все бьется в памяти, и ноги невольно попадают в такт. Душа моя пела:

С гелиотропа у ограды
Упала светлая слеза.
Ко мне, моя любовь, отрада, —

подгоняя меня вперед. А потом в другом ритме, над бурными водами плотины:

Мое сердце ликует, как птица,

Что свила гнездо у стремнины,
Мое сердце, как яблоня, — низко…

Какие поэты, вырвалось у меня в темноте, какие были поэты!

Обидевшись за наш век, я стала сравнивать, хотя это глупо и бессмысленно, прошлую поэзию с современной. Можно ли сегодня назвать двух поэтов, равных Теннисону и Кристине Россетти? Но их и сравнивать нельзя, отвечала я самой себе, глядя в водоворот плотины. Поэзия Россетти и Теннисона будит в нас такой порыв и восторг потому, что чувство, которое она празднует, знакомо каждому человеку (не по довоенным ли завтракам?). В нем не сомневаешься, его не сравниваешь со своими новыми впечатлениями. На такую поэзию откликаешься легко, привычно. И совершенно иное — у современных поэтов. Они как бы выхватывают у нас еще не остывшее чувство. Его трудно узнать, часто почему-то его пугаешься. Пристально следишь за ним, ревниво и недоверчиво сравниваешь со старым, знакомым. В этом трудность современной поэзии, из-за нее не вспомнить у хорошего поэта более двух строк… И из-за моей забывчивости вопрос повис в воздухе. И все же почему, настаивала я, шагая напрямик, мы больше не напеваем тихо на званых завтраках? Почему умолк Альфред:

Ко мне, моя любовь, отрада?

И Кристина не отзывается:

Мое сердце — воля и радость
От любви, нахлынувшей полно?

Обвинять ли войну? Пушки ударили в августе 1914-го — и лица мужчин и женщин предстали такими подурневшими в глазах друг друга, что романс оборвался? Конечно, было страшным ударом увидеть лица наших законодателей при свете рвущихся бомб, особенно женщинам с их иллюзиями относительно культуры, цивилизованности и пр. Какими безобразными они показались — немцы, англичане, французы, — какими тупыми! Но как бы то ни было, иллюзия, вдохновлявшая Теннисона и Кристину Россетти так страстно петь о любви, ныне редкость. Достаточно оглянуться вокруг, почитать, прислушаться, вспомнить. Но зачем «обвинять», если то была иллюзия? Почему не оправдывать катастрофу, если она покончила с иллюзиями и

установила истину? Ибо истина, подумала я, и… проскочила, в поисках истины, поворот на Фернхем. Нет, в самом деле, как отличить истину от иллюзии? — задавала я себе вопрос. Скажем, вон те дома — в сумерках праздничные, манят маяками окон, а наутро хозяева их, опухшие, неряшливые, копошатся за вечными патокой и шнурками — какое из этих лиц истинное? А ивы, река, сады по берегам, вечерами серые, а на солнце золотые и багряные — где тут истинное, где мнимое?.. Но я не буду утомлять вас рассказом о том, как петляла в потемках моя мысль: дорога эта не имела конца, и вскоре я поняла свою ошибку и вернулась к Фернхему.

Стоял, как я уже сказала, октябрь, и мне не к лицу менять время года и описывать сирень, шафран, тюльпаны и другие весенние цветы: так я рискую потерять ваше уважение и запятнать честное имя литературы. Все говорят, литература должна придерживаться фактов, и чем факты точнее, тем она правдивее. Поэтому пусть — стояла осень, и листья желтели и падали, разве чуть быстрее, чем раньше, наступил вечер (точнее, семь часов двадцать три минуты), и подул ветер (не какой-нибудь, а юго-западный). Но что-то странное творилось вокруг…

Мое сердце ликует, как птица,
Что свила гнездо у стремнины,
Мое сердце, как яблоня, — низко
Клонит ветви с плодами литыми.

Поэзия ли Кристины Россетти виновата в проделках фантазии (то, конечно же, фантазия) — но, когда я подошла к садовой ограде, за нею цвела сирень, мелькали бабочки-белянки и в воздухе пахло пыльцой. Дул ветер, из какой части света, не знаю, но он поднимал ранние листья, и те вспыхивали серебристо-серым. Был сумеречный час, когда цвета острее и пурпур и золото бьют в стекла окон ударами взволнованного сердца. Когда непонятно, почему красота мира, открывшаяся и уже обреченная (я вошла в сад: калитка настежь, и вокруг ни педеля), — обреченная красота оттачивается смехом, оттачивается болью, разрывая сердце. Сады Фернхема лежали передо мной в весенних сумерках, дикие и просторные; в высокой траве будто разбрызганы, небрежно выплеснуты нарциссы и колокольчики: непокорные, как в лучшие свои часы, они волновались и бились под ветром, обнажая корни. Окна дома — крошечные иллюминаторы в толще красного кирпича — то желтели, то серебрились под быстро проплывавшими весенними тучами. Кто-то качался в гамаке — или мне только померещилось в сумраке?

— кто-то рванулся по траве к дому — неужели некому остановить? И затем на террасе возникла — точно вырвалась глотнуть воздуху, взглянуть на сад — женская согнутая фигура, грозная и смиренная. Высокий лоб, изношенное платье — ужели это она, знаменитый ученый, сама Дж. Х.? Все притихло и напряглось; казалось, газовый шарф лежавших над садом сумерек разорвала, сверкнув, то ли звезда, то ли сабля — словно ударила какая-то жуткая реальность, предательски вывернувшаяся из самого сердца весны. Ибо юность…

«Ваш суп». Я сижу в столовой. Идет обед. Весна только померещилась, на самом деле октябрьский вечер. Всех собрали в огромном зале. Время обедать. Есть суп. Простой бульон. На нем не пофантазируешь. Можно, конечно, поискать рисунок на дне тарелки — налитая жидкость прозрачна как слеза. Но рисунка нет. Простая тарелка. Дальше говядина с картошкой и зеленью — вечная постная троица, напоминающая о говяжьих крестцах, грязном базарном прилавке, увядшей капусте, торговле из-за каждого пенса и женщинах с кошелками утром по понедельникам. Никто не ропщет, пища здоровая, всем хватает — у семей английских шахтеров наверняка и того нет. Дальше чернослив с драченой. Нет, все-таки есть на свете люди, способные расщедриться хотя бы на чернослив, пусть он и черств, и черен, как сердца скупцов, экономивших всю жизнь на вине и тепле камина и ни гроша не уступивших бедняку. Затем бисквиты и сыр, и по столу пошел гулять кувшин с водой: бисквиты вообще сухие, а эти были просто камень. Всё. Еда окончена. Отодвинули стулья, заходила взад и вперед турникетная дверь, и вот уже зал стоит чистенький, приготовленный для утренней трапезы.

По коридорам и лестницам колледжа, распевая и хлопая дверями, шла юность Англии. И поскольку я чужая в Фернхеме, как, впрочем, и в любом другом колледже, у меня язык не повернулся сказать Мери Сетон (мы поднялись к ней в комнату): «Невкусный обед, почему было не пообедать здесь, одним?» Не пристало гостю копаться в хозяйственных уловках этого приветливого, неунывающего дома. Нельзя обижать хозяев. И я замялась, разговор повис в воздухе. Таков человек — сердце, тело, мозг у него вперемешку, а не разложены по ящичкам, как, несомненно, будет через миллион лет, и потому без хорошего обеда разговор не клеится. Пообедал плохо — плохо думается, плохо любится, не спится. От говядины и чернослива в душе не затеплится свет. Мы вроде бы на верху блаженства, и нам, может быть, улыбнется когда-нибудь Ван Дейк — неопределенные и несмелые мысли порождают съеденные на ночь чернослив с драченой. К счастью, у моей подруги, она естественник, была

припасена бутылка вина (правда, неплохо было бы начать с морских языков и куропаток, но где они?!) — так что, устроившись с рюмкой у камина, можно отыграться за прожитый день. Через минуту мы уже порхали вокруг тех интересных тем, что приходят в голову за время отсутствия некоторых персон и, естественно, обсуждаются при встрече, — кто-то женился, кто-то нет, один думает так, другой иначе, один неузнаваемо переменился к лучшему, другой на удивление испортился — со всеми вытекающими выводами о человеческой природе и нашем удивительном мире. Но скоро я смущенно заметила, что мысли мои бродят далеко, словно какой-то властный, могучий поток отвлекает меня от разговора. Испания, Португалия, книги, бега — все это было очень интересно, но меня задевала за живое только маленькая картина пятисотлетней давности: на крыше часовни копошатся каменщики, а внизу короли и знатные вельможи подносят мешки с золотом и ссыпают его под стены. И рядом — другая картина: тощие коровы, грязный рынок, увядшая зелень, стариковские жилистые сердца. Почему-то в моем воображении они всегда оживали вместе, кажется, без всякой связи, и я ничего не могла с собой поделать. Еще немного, и разговор зашел бы в тупик. Оставалось одно — высказаться немедленно, чтоб наваждение исчезло, испарилось, рассыпалось трухой, как череп короля, чей гроб вскрыли в Виндзоре. И я рассказала Мери о каменщиках на крыше часовни, о королях и вельможах, не жалевших золота на фундамент, о нынешних финансовых магнатах, которые вкладывают в дело уже не самородки и грубые слитки, а чеки с бонами. Целые сокровища заложены под Оксбриджем, сказала я, а что же Фернхем? Что лежит под его славным кирпичом и диким, заросшим садом? Откуда простая посуда, из которой мы ели? Говядина (вырвалось у меня невольно), чернослив с дра-ченой?

Видишь ли, начала Мери, в 1860 году… да ты знаешь эту историю, заметила она с неохотой. Сняли женщины комнаты, выбрали комитет, организовали подписку, разослали письма. Потом на собраниях зачитывали ответы подписчиков: такой-то дает столько-то, такой-то ни пенса. «Сэтердей ревью» назвала все это глупой затеей! Чем будем расплачиваться за услуги? Может, устроить благотворительный базар? Есть у кого-нибудь на примете хорошенькая девушка для первого ряда? А как на это посмотрел бы Джон Стюарт Милль? Кто возьмется уговорить редактора N напечатать письмо? Кто поедет заручиться поддержкой леди N? Но она в отъезде. Примерно так — медленно, преодолевая сопротивление, тратя силы, здоровье, время — действовали женщины шестьдесят лет назад. И все-таки

после долгой борьбы им удалось насобирать те тридцать тысяч.[2] Сама понимаешь, улыбнулась Мери, мы не можем позволить себе вина, куропаток и слуг с подносами. Не говоря уже о диванах и отдельных комнатах. «С удобствами придется обождать»,[3] — прочитала она по какой-то книге.

На минуту мы с Мери задумались о женщинах, которые никогда не держали в руках две тысячи фунтов, а тридцать тысяч собирали годами, и нам стало горько от такой постыдной нищеты. Чем же занимались наши матери? Носы пудрили? Разглядывали витрины? Щеголяли под солнцем в Монте-Карло? В комнате у Мери на камине стояли фотографии. Возможно, ее мать — если это она — и любила развлечься на досуге (тринадцать детей от приходского священника!), только на ее лице почему-то не осталось следов беззаботной и веселой жизни. Скромная пожилая женщина в клетчатой шали с брошью; сидя на плетеном стуле, она с доброй, напряженной улыбкой смотрит на спаниеля, словно знает заранее, что он дернется в самый неподходящий момент. А если бы она зарабатывала деньги — скажем, на производстве искусственного шелка — или играла бы на бирже и оставила Фернхему двести или триста тысяч? Мы чувствовали бы себя вольготно этой ночью, обсуждали бы проблемы физики, или археологии, или ботаники, антропологии, строение атома, астрономию, теорию относительности, географию. Если бы только наши матери научились в свое время великому искусству делать деньги и завещали их потом своим дочерям на звания и стипендии, как это делали для своих сыновей отцы, мы бы сегодня отлично поужинали птицей и бутылкой вина одни; и будущее представлялось бы нам надежным и безоблачным под сенью какой-нибудь высокооплачиваемой профессии. Мы бы исследовали, писали, бродили по древним уголкам земли, сидели у подножия Парфенона или шли бы к десяти на службу и в половине пятого возвращались пописать стихи. Только… здесь в наших рассуждениях возникла заминка — если бы наши матери с пятнадцати лет пошли работать… не было бы Мери. Что Мери думает об этом, спросила я. За окном стоит октябрьская ночь, ясная, тихая, только одна или две звездочки мерцают в желтеющих ветвях. Готова ли Мери отказаться от настоящего? Пожертвовать ради Фернхема своими детскими воспоминаниями об играх и ссорах в горах Шотландии, об ее чистейшем воздухе и коврижках (у них была большая, счастливая семья)? Потому что, если женщины начнут вкладывать деньги в колледжи, семьям придет конец. Делать деньги и рожать дюжину детей — ни один человек такое не вынесет. Рассмотрим факты, сказали мы.

Сначала девять месяцев до рождения ребенка. Затем три или четыре месяца его надо кормить, а дальше лет пять с ним надо заниматься. Вы же не предоставите ребенка улице. Те, кто бывал в России и видел, как бегают без присмотра русские дети, говорят, что картина эта не из приятных. Еще говорят, человеческая природа оформляется между годом и пятью. Так если б твоя мать делала деньги, спросила я Мери, разве тебе было бы что вспомнить о детских ссорах и играх, о Шотландии, ее чудесном воздухе, коврижках и всем остальном? Праздные вопросы — тебя бы просто не существовало. Как и без толку размышлять о том, что было бы, если б наши матери накопили деньги и вложили их в строительство колледжа или библиотеки: женщинам ведь негде было зарабатывать, а если кому-то и случилось бы заработать, эти деньги по закону им не принадлежали. Только в 1880 году, то есть сорок восемь лет назад, женщина стала законной хозяйкой своих пенсов. Во все предыдущие века ее деньги были собственностью мужа — уже из-за одного этого она не стала бы играть на бирже. Раз выигранные деньги все равно будут не мои, а его, рассуждала она, и пойдут на учреждение стипендии или звания в мужском колледже, какой мне интерес зарабатывать? Пусть он этим и занимается.

Но кто бы ни был виноват, ясно, что наши матери по какой-то причине дело загубили. Ни пенса на «удобства», на куропаток и вино, газоны с педелями, книги и сигары, библиотеки и досуг. Самое большее, что они сумели, — это поднять из голой земли кирпичные стены.

Так мы разговаривали с Мери, как беседуют вечерами тысячи людей у окна, глядя на купола и башни прославленного города. В осеннем лунном свете он был таинствен, прекрасен. Старые, точно убеленные сединою, камни. Думалось о собранных там книгах, о портретах прелатов и вельмож на панелях красного дерева. О витражах, отбрасывающих на асфальт странные круги и полумесяцы; фонтанах, траве, о тихих комнатах окнами в тихие квадраты. И еще — простите мне эту прозу — о восхитительных сигаретах, винах, глубоких креслах и мягких коврах. О той атмосфере цивилизованности, радушия, достоинства, которая приходит только с комфортом, с роскошью, привычкой к уединению. Разумеется, наши матери не дали нам ничего подобного — наши нищие матери, еле добывшие тридцать тысяч фунтов, обремененные дюжиной детей от приходских священников.

Я пошла назад в гостиницу и, идя темными аллеями, перебирала в памяти события дня, как всякий после работы. Почему у миссис Сетон не оказалось для нас денег? Как действует

на сознание человека нищета? Как влияет на его развитие достаток? Вспомнила ученых старцев с кисточками, которые, услышав свист, немедленно пускаются в галоп. И гудевший в часовне орган, и запертые двери библиотеки. Думала о том, что неприятно, когда тебя выставляют, но гораздо хуже, если держат взаперти. О том, что один пол процветает, а другой нищ и неуверен в завтрашнем дне. Что у одних традиция, а за другими — пустота, и как это может сказаться на развитии писателя… Пока наконец не решила: «Хватит!» — и, скомкав измятую оболочку дня со всеми спорами, насмешками, обидами, запустила ею в изгородь. В ночном пустынном небе вспыхивали тысячи звезд. Казалось, ты один среди непостижимого людского общества. Все давно спали — кто вытянувшись, кто ничком. Ни души на улицах Окс-бриджа. Даже дверь в гостиницу некому открыть, спят коридорные — и тут она сама, точно по волшебству, передо мной отворилась.

ГЛАВА 2

А теперь попрошу вас представить другую картину: лондонский листопад, мы поднимаемся мысленно над уличным потоком шляп, машин, автофургонов и заглядываем в одну из тысяч обыкновенных лондонских комнат, окнами выходящую в такие же окна напротив, и в глубине ее видим на столе пустой листок, на котором выведено крупно: «ЖЕНЩИНЫ И ЛИТЕРАТУРА», и ни слова больше. После Оксбриджа поход в библиотеку Британского музея казался неизбежным. Надо профильтровать свои впечатления, отделив все случайное, наносное, и дойти до драгоценных крупиц истины. Столько вопросов зароилось в голове после тех памятных завтрака и обеда в Оксбридже! Почему мужчины пьют вино, а женщины воду? Почему они процветают, а мы остались нищими? Как влияет на литературу нищета? Какие условия необходимы для создания произведений искусства? Но все ищут ответы, а не вопросы. За ответами же идут к ученым, к тем умудренным и беспристрастным, что, поднявшись над бренной суетой, оставили человечеству плоды своего разума в трудах, собранных в библиотеке Британского музея. Если истины нет на полках Британского музея, то где ж ее искать? — спросила я, беря блокнот и карандаш.

И с этими вопросами я пустилась за истиной. День был не сырой, но унылый, и на улицах рядом с музеем уже открыли угольные ямы, куда сгружали мешки с углем. У дверей пансионов прямо на асфальте лежали сваленные грудой коробки со скарбом итальянского или швейцарского семейства, заехавшего в Блумсбери то ли в поисках счастья, то ли просто перезимовать. Со всех сторон неслись выкрики торговцев. Одни кричали наперебой, предлагая свой товар, другие пели. Лондон был похож на цех или станок. Мы все сновали челноками туда и сюда, словно выделывая на его простой основе какой-то немудрящий узор. Британский же музей был цехом особым.

Открывается входная дверь, и человек, встав под его громадный купол, чувствует себя ничтожной мыслью в гигантском лбу, обвитом пышной вязью прославленных имен. Идет к конторке, берет бланк, открывает томище каталога — и….. Это пятиточие означает пять долгих минут столбняка, удивления и, наконец, озадаченности. Представляют ли женщины, сколько о них ежегодно пишут мужчины? Известно ли им, что они самый обсуждаемый на свете зверь? Я пришла в библиотеку с блокнотом и карандашом, рассчитывая: почитаю утро, и в полдень истина

будет у меня. Но я вижу, надо быть стадом слонов, скопищем пауков, чтобы все это осилить, — в ужасе я представила самых выносливых и многоглазых животных. Чтобы только отделить зерна от плевел, мне понадобились бы стальные когти и железный клюв. Искать крупицы истины среди этой бумажной массы? — спросила я растерянно и пробежала глазами длинный список. Названия — и те ставили в тупик. Понятно, когда вопросами пола занимаются биологи и медики, но, к моему неизъяснимому удивлению, женским полом интересовались все, кому не лень: эссеисты и ловкие писаки, молодые люди со степенью магистра искусств и люди без степени, все достоинство которых только в том, что они мужчины. Некоторые заглавия были с виду легкомысленными и шутливыми, но большинство серьезными и назидательными. В воображении рисовались строгие директора школ и священники на трибунах и амвонах, рассуждающие о женщинах с таким красноречием, что никаких регламентов не хватит. Странное явление, причем свойственное лишь мужчинам, — я специально проверила на букву Ж. Женщины не пишут о мужчинах, вздохнула я облегченно, потому что, если бы мне пришлось прочитать все, что те и другие написали друг о друге, боюсь, что кактус, который расцветает раз в столетие, успел бы дважды отцвести, а я бы все сидела. И вот, выбрав наугад несколько книг, я отослала заполненные бланки и стала ждать за своим столиком среди таких же, как я, охотников до истины.

И все же чем объяснить эту разницу? — думала я, черкая каракули на чистых бланках. Почему, судя по каталогу, женщины больше интересуют мужчин, чем мужчины женщин? Очень странный факт, и я попробовала себе представить, кто пишет о женщинах. Старики или молодые, женатые или холостяки, алкоголики, горбатые… В каком-то смысле лестно оказаться в центре внимания, если, конечно, оно исходит не от одних уродов и калек, — предавалась я вольным мыслям, пока на мою конторку не обрушилась лавина книг. И начались мучения. Разумеется, оксбриджский студент умеет прямо гнать вопрос, пока тот не вбежит в ответ, словно баран в загончик. Рядом, например, сидел студент и старательнейше списывал с учебника. Чувствовалось, что он каждые десять минут извлекает не крупицы — слитки благородного металла. Он даже покряхтывал от удовлетворения. А тот, кто не прошел университетской выучки? Его вопрос не побежит овцой в загон, а шарахнется в сторону, как стадо, перепуганное сворой гончих. Профессора, директора, социологи, священники, романисты, эссеисты, журналисты, господа, все достоинство которых только в том, что они мужчины, — все

травили мой простой вопрос: «Почему женщины нищие?» — пока он не рассыпался на пятьдесят вопросов и все пятьдесят не бросились очертя голову в поток и сгинули. Мой блокнот был весь исписан. Чтобы вы лучше поняли мое состояние, я зачитаю страничку. Она называлась ясно и просто «Женщины и бедность», но дальше шло нечто такое…

Положение в средние века…
Амазонки Фиджи…
Были предметом культа…
Морально неустойчивы…
Идеалистки…
Более ответственны…
Половая зрелость у жительниц тихоокеанских островов…
Хороши собой…
Приносились в жертву…
Малый объем черепной коробки…
Большая активность подсознания…
Меньший волосяной покров…
Моральная, умственная и физическая неполноценность…
Любовь к детям…
Дольше живут…
Более слабая мускулатура…
Сила привязанности…
Тщеславны…
Легче поддаются воспитанию…
Мнение Шекспира…
Мнение лорда Беркенхеда…
Мнение декана Айнджа…
Мнение Лабрюйера…
Мнение д-ра Джонсона…
Мнение г-на Оскара Браунинга…

Здесь я перевела дух и приписала на полях: «И почему это Сэмюел Батлер говорит: «Умный мужчина никогда не скажет, что он думает о женщинах»? По-моему, умные мужчины ни о чем другом и не говорят». Но главное, что они думают все по-разному, — я откинулась на спинку стула, уже обозленно глядя в необъятный купол библиотеки. Например, Поуп: «У большинства женщин нет ни капли характера». А вот Лабрюйер: "Les femmes sont extremes, elles sont meilleures ou pires que les homines"{3}. Явное противоречие у проницательнейших наблюдателей-современников. Способны женщины к наукам? Наполеон считал,

что неспособны. Д-р Джонсон был другого мнения.[4]

Есть ли у женщины душа? Находятся дикари, которые говорят: нету. Другие, наоборот, считают женщин чуть не святыми и поклоняются им.[5] Одни мудрецы заявляют, что женщины неразумнее мужчин, другие — что они глубже. Гёте чтил их, Муссолини презирает. Кажется, во все времена мужчины думали о женщинах, и думали по-разному. Ничего не поймешь — с досадой я глядела на соседа, аккуратненько выводившего итог под A, B и C, тогда как мой блокнот бунтовал противоречивыми цитатами. Неприятно, глупо, обидно. Истина прошла сквозь пальцы, как песок. Вся до крупинки.

Нельзя же мне пойти домой, размышляла я, и выдать за серьезное изучение проблемы женщины и литературы рассуждения о том, что у женщин волосяной покров меньше, чем у мужчин, или что у жительниц тихоокеанских островов половая зрелость наступает в девять… или девяносто лет? — даже почерк совсем развинтился. Стыдно после целого утра работы показывать какую-то чепуху. И если я не откопала истину о Ж в прошлом (так я сокращенно стала называть женщину), то зачем беспокоиться о ее будущем? Нет, видно, пустая это трата времени — обращаться к многочисленным ученым, крупным специалистам в области женского вопроса и влияния женщин на политику, детей, зарплату, нравственность и так далее. Их книг и раскрывать не стоило.

Размышляя, я рассеянно водила карандашом по бумаге вместо того, чтобы писать заключение, как мой сосед. Вырисовывалось чье-то лицо, чья-то фигура. Да ведь это же профессор фон Х, высиживающий свой монументальный опус «Умственная, нравственная и физическая неполноценность женского пола». Профессор вышел у меня очень некрасивым. Толстый, с огромной челюстью, глазки узкие, лицо багровое. По его выражению было видно — он рассержен; всаживает перо в листок, словно хочет прикончить одну зловредную букашку — и уже прикончил, да показалось мало, требует новой жертвы, и все равно у него, видно, оставался повод сердиться и раздражаться. Может, из-за супруги? — подумала я, разглядывая набросок. Она влюбилась в кавалериста? Стройного, элегантного, в каракулевой бурке?

А может, если принять Фрейда, над его детской колыбелью расхохоталась прелестная шалунья? Потому что он и в детстве, наверное, на всех дулся. Как бы ни было, у меня он вышел очень злым и очень гадким со своей книгой об умственной, нравственной и физической неполноценности женского пола. Рисовать картйнки — конечно, праздный способ подводить итоги.

Но, бывает, именно в минуту праздности, полудремы правда и выходит наружу. Простейшее психологическое действие — не сравнить с психоанализом — открыло мне, что своего профессора я набросала осерчав. Моим карандашом незаметно овладел гнев. Только откуда он взялся? Интерес, растерянность, веселье, скуку — все это я действительно перечувствовала утром. Но гнев?.. Неужели он затаился гадюкой? Да, отвечал рисунок. Он ясно указывал, откуда исходил этот злой дух: из безоговорочного заявления профессора о моей умственной, нравственной и физической неполноценности. И — заколотилось сердце, запылали щеки. Я вспыхнула от гнева. Естественная человеческая реакция, хотя, может, и глупая. Кому понравится, если про него за глаза сказать, что он от природы ниже самого скромного представителя человеческого рода? Я взглянула на сопящего рядом студента, в мятом галстуке, две недели не бритого. В каждом сидит какое-то глупое тщеславие. Так уж устроен человек, подумала я, быстро зачеркивая свой набросок сердитого профессора. И вот он уже не профессор, а неопалимый куст или хвост пылающей кометы — словом, призрак, лишенный смысла и человеческого подобия. Вязанка хвороста, зажженная на Хемстед-Хит. Итак, я нашла причину своего гнева, и его как рукой сняло. Но любопытство осталось. Чем объяснить негодование профессоров? Чего они сердятся? Когда доходило до анализа их сочинений, в них всегда оказывалась примесь пыла. Эта запальчивость принимала различную окраску — сатирическую, сентиментальную, прорывалась то в излишней строгости, то в любопытстве. И был еще один элемент, который сразу не распознаешь. Гнев — так я его определила. Только он давно уже перекипел и смешался с разными другими чувствами. Судя по странным последствиям, то был хитрый и замаскированный гнев, а вовсе не честный и открытый.

Как бы ни было, все эти книги мне ни к чему, подумала я, оглядев кипу на моем столе. Они никчемны, так сказать, в научном плане, хотя житейски в них очень много поучительного, развлекательного, скучного и очень странного насчет островитянок Фиджи. Они написаны в запальчивости, а не в холодном свете истины. Поэтому пусть лучше возвращаются на стол библиотекаря и разбегаются по своим ячейкам в громадном улье книгохранилища. Я же из утренних поисков вынесла один-единственный факт: профессора сердятся. Но почему — я уже вернула книги и стояла под колоннадой среди голубей и доисторических каноэ, — почему они сердятся? И, не переставая задавать себе этот вопрос, побрела завтракать. Что в действительности скрыто за профессорским гневом? Над этой

задачкой поломаешь голову, пока тебя обслуживают в кафе неподалеку от музея. Кто-то из посетителей забыл на стуле утренний выпуск вечерних новостей, и скуки ради я начала его просматривать, дожидаясь своей очереди. Через всю страницу заголовок: кому-то повезло в южно-африканской партии. Буквочки помельче сообщали, что Чемберлен прибыл в Женеву. В подвале мясника найден топор с присохшими человеческими волосами. Г-н судья по делам разводов выступил вчера в суде с речью против бесстыдного поведения женщин. Мелькали и другие новости. Где-то в Калифорнии с головокружительной высоты спустили кинозвезду — она повисла в воздухе. Погода сохранится пасмурная. Попадись газета инопланетянину, он даже из этих разрозненных фактов понял бы, что Англия под башмаком у патриарха. Только безголовые не замечали повсеместного засилья профессора. Ему принадлежат власть, и деньги, и влияние. Он — владелец этого утреннего выпуска, его редактор и замредактора. Он — министр иностранных дел и судья. Он — удачливый игрок в крокет и хозяин яхт. Он стоит во главе компании, что выплачивает пайщикам двести процентов прибыли. Он завещает миллионы на нужды богаделен и колледжей, в которых сам же председательствует. Он подвесил в воздухе киноактрису. И он будет решать, человеческие ли волосы на топоре, виновен или невиновен подсудимый, казнить его или оправдать. За исключением тумана, в его руках, кажется, всё. И тем не менее он сердится. И я знаю почему. Читая его книгу о неполноценности женщин, я невольно думала о нем самом, а не о предмете разговора. Там, где спор ведется беспристрастно, спорящий думает лишь о сути, и тогда читатель тоже начинает думать о сути. Напиши профессор бесстрастно о женщинах, приведи он неопровержимые доказательства их неполноценности, не пожелай он с самого начала представить результат именно таким, а не другим, никто и не вспылил бы. Принял бы за факт, как то, что горох зеленый, а канарейки желтые. Быть посему, ответила бы я. Но я рассердилась, ибо он горячился. Нелепо все-таки, думала я, читая обратную сторону газеты, у человека столько власти, а он сердится. А может, гнев — это бес в услужении у власти? Например, богатые часто гневаются, потому что видят в нищих угрозу своему богатству. Профессора, или точнее назвать их патриархами, возможно, сердятся поэтому же или по другой причине, спрятанной чуть глубже. Они могут быть и не гневливы — часто, наоборот, восторженны, преданны, безупречны в личной жизни. Возможно, нажимая на неполноценность женщин, профессор фон Х пекся не столько об истине, сколько о своем личном первенстве. Для него это бесценный алмаз, потому он и

защищал его с такой запальчивостью. Людская жизнь — вон за окном идут прохожие, выставив вперед плечо, — это борьба, напряженная, бесконечная. Она требует гигантской силы и отваги. А еще больше, при нашей привязанности к иллюзиям, — уверенности в самом себе. Без самоуверенности мы как младенцы в колыбели. А как быстрей развить в себе это загадочное, бесценнейшее свойство? Считать других ниже себя. Чувствовать за собой врожденное превосходство — скажем, богатство, или титул, или римский нос, или дедушкин портрет кисти Ромнея — фантазия человеческая неистощима на всевозможные уловки самовозвышения. Так и патриарху, чтоб ему и дальше подчинять себе других, дальше властвовать, жизненно необходимо ощущение, что огромная масса людей, фактически половина человечества, ниже его патриаршего высочества. Должно быть, это и вправду один из главных источников его силы. Но перейдем от этого наблюдения к реальной жизни. Не послужит ли оно ключом к ежедневно отмечаемым психологическим загадкам? Например, недавний случай с Z — культурнейший, скромнейший из мужчин листал книгу Ребекки Уэст и вдруг вскочил как ужаленный: «Отъявленная феминистка! Она считает мужчин снобами!» Восклицание изумило меня — если мисс Уэст и отозвалась нелестно по адресу другого пола, отчего сразу «отъявленная»? Это не просто крик уколотого самолюбия, это протест против малейших нарушений его веры в себя. Все эти века женщина служила мужчине зеркалом, способным вдвое увеличивать его фигуру. Без такой волшебной силы земля, наверное, и по сей день оставалась бы джунглями. Мир так никогда бы и не узнал триумфов бессчетных наших войн. Мы по-прежнему сидели бы в пещерах и царапали фигурки оленей на обглоданных костях либо меняли кремень на овчину или какое-нибудь другое незатейливое украшение, пленившее наш детский вкус. История не знала бы ни Суперменов, ни отмеченных Перстом Судьбы. Некого было бы короновать и обезглавливать. Не знаю, как в цивилизованных галактиках, а в мире жестких и сильных личностей без зеркал не обойтись. Потому Наполеон и Муссолини и настаивают на низшем происхождении женщины: ведь если ее не принижать, она перестает увеличивать. Отчасти это объясняет, почему мужчинам так необходима женщина. И почему им так не по себе от ее критики. Почему ей нельзя сказать им: это плохая книга, это слабая картина. Любое ее слово обидит и разгневает их куда больше, чем если б то же самое сказал критик-мужчина. Слово правды — и господин в зеркале съеживается; он уже не столь жизнеспособен. Как же ему дальше жить, давать оценки, сеять свет среди непросвещенных, издавать

законы, писать книги и, вырядившись, говорить спич на торжественном банкете, если дома за завтраком и обедом ему не дали вырасти в собственных глазах по крайней мере вдвое? Так думала я, катая хлебный мякиш, помешивая кофе, глядя на людей за окном. Зеркальный призрак жизненно необходим, он подстегивает мужчину, стимулирует его нервную систему. Отставьте зеркало, и мужчина, того гляди, умрет, как наркоман без дозы кокаина. Под властью этой иллюзии, думала я, половина прохожих шагает на работу. Утром под ее теплыми лучами надевают они пальто и шляпы. На улицу выходят бодрые, уверенные, что будут желанными гостями на званом чае у мисс Смит; они, еще стоя на пороге гостиной, внушают себе: «Здесь каждый второй ниже меня» — и вступают в разговор с тем самомнением, с той самоуверенностью, которые так глубоко сказываются на жизни общества и наводят человека на любопытные мысли.

Эти размышления на опасную и увлекательную тему психологии другого пола — я надеюсь, вы исследуете ее, когда у вас будет пятьсот фунтов в год, — прервал официант со счетом. С меня пять шиллингов и девять пенсов. Даю официанту десятишиллинговую банкноту, и он идет за сдачей. А в кошельке лежит еще одна купюра. Я ее потому заметила, что до сих пор дивлюсь способности своего кошелька автоматически выдавать банкноты. Общество кормит меня, поит, дает мне постель и крышу над головой в обмен на известное число бумажек, оставленных мне тетей — тоже Мери Бетон.

Дело в том, что моя тетя свернула себе шею, гарцуя перед изумленной бомбейской публикой. Известие о наследстве дошло до меня ночью, почти одновременно с принятым законом об избирательном праве женщин. По почте пришло письмо поверенного, из которого я узнала, что мне завещано пятьсот фунтов в год. Из двух этих событий — получения наследства и права голоса — деньги казались куда важнее. На что я раньше жила? Попрошайничала по редакциям, тут сообщишь о выставке ослов, там о бракосочетании, конверты надписывала, слепым старушкам читала, искусственные цветы делала, детишек азбуке учила — за гроши. Вот, собственно, почти все занятия, доступные женщинам до 1918 года. Описывать этот поденный труд нет надобности — вероятно, вы знали женщин, которые им занимались; рассказывать о трудностях жизни на такой заработок тоже, думаю, нет смысла, возможно, вы пробовали. Но что меня до сих пор преследует хуже любых напастей, так это яд страха и озлобленности, который постепенно во мне вызрел. Все время делать работу, противную себе, и делать по-рабски, льстя и

заискивая, — тогда это казалось необходимым, и ставки слишком высоки, чтоб рисковать. И постоянная мысль, что твой дар — невелик он, но скрывать его самоубийственно, — дар твой гибнет, и с ним ты, твоя душа — все это словно ржой поедало весенний яблоневый цвет, точа у дерева самую сердцевину. Впрочем, как я сказала, тетя умерла, и отныне с каждой разменянной банкнотой ржавчина понемногу сходит, нет уже того страха и той озлобленности. Удивительно, подумала я, пряча серебро в кошелек и вспоминая былую горечь, какую перемену настроения вызывает надежный годовой доход. Никакая сила в мире не сможет отнять у меня моих свободных пятисот фунтов. Еда, дом и одежда навсегда мои. Покончено не только с напрасными усилиями, но и с ненавистью, горечью. Мне незачем ненавидеть мужчин, они не могут задеть меня. Мне незачем им льстить, они ничего не могут дать мне. И незаметно во мне вырабатывался новый взгляд на другую половину рода человеческого. Винить класс или пол в целом бессмысленно. Огромные массы людей не ответственны за свои поступки. Все движимы силами, обуздать которые в одиночку никто не в состоянии. Патриархам и профессорам тоже приходится бороться с бесконечными трудностями. Их воспитание столь же ущербно, как и мое. Развило в них не меньшие изъяны. Да, они имеют деньги и власть, но слишком дорогой ценой: вскармливая в себе хищника, терзающего им печень и легкие, — инстинкт обладания, страсть добычи, порождающие ненасытное желание отбирать у людей землю и добро, устанавливать границы и вешать флаги, делать линкоры и ядовитый газ, жертвовать своей жизнью и жизнями своих детей. Пройдите под Адмиралтейской аркой (а я как раз подошла к ней) или любой другой дорогой, прославляющей пушки и трофеи, и подумайте, что за доблесть там увековечена. Или понаблюдайте на весеннем солнце за маклером и знаменитым адвокатом, как прячутся они в тень делать деньги, деньги, деньги, хотя известно: человеку для жизни нужно всего пятьсот фунтов в год. Воспитанный человек не стал бы вынашивать в себе эти дикие инстинкты. Их порождают условия жизни. Недостаток цивилизованности, подумала я, глядя на статую герцога Кембриджского, особенно на его петушиный плюмаж. Я открывала эти недостатки, и мало-помалу мои горечь и страх уступили место жалости и терпимости; а через год-другой и они прошли, и наступило величайшее освобождение, свобода думать о сути вещей. То здание, скажем, — нравится мне или нет? А та картина — она прекрасна или нет? А эта книга — как, на мой взгляд, хорошая или плохая? Воистину, тетино наследство очеловечило для меня небо, научив свободно смотреть на мир, а

не на мильтоновскую статую господина.

С этими мыслями возвращалась я вечером в мой дом у реки. Зажглись фонари, и нечто неописуемое охватило Лондон. Словно его огромная машина соткала за день с нашей помощью кусок чего-то страшно захватывающего и прекрасного — огненную ткань, рыжее чудище, искры из глаз сыплются, дым клубами изо рта. Даже ветер кидался, будто флаг, стегая дома и шатая заборы.

А на моей тихой улочке все было по-домашнему. Спускался с лесенки маляр, няня катала детскую коляску, угольщик складывал в стопку пустые мешки, зеленщица в красных митенках подсчитывала дневную выручку. Но, увлеченная проблемой, я и эти будничные сцены не могла не связывать с главным. Я думала о том, насколько сегодня труднее решить, какая профессия выше, полезнее. Угольщика или няни? Разве уборщица, поднявшая восьмерых детей, меньше значит для человечества, чем адвокат, состряпавший сто тысяч фунтов? Бесполезно задавать эти вопросы, на них нет ответа. И дело не только в относительности оценок уборщиц и адвокатов — они разные у каждого поколения, но мы даже не можем измерить, каковы они в данный момент. Глупо было просить у профессора «неопровержимых доказательств», подтверждающих его мнение о женщинах. Даже если кто-то и установил бы ценность какого-то таланта, оценки эти вскоре изменятся, а о следующем столетии и говорить нечего. Более того, думала я, подходя к двери, через сто лет женщины уже не будут огражденным полом. И наверняка примут участие во всех делах и трудах, прежде для них закрытых. Няня станет грузить уголь. Зеленщица водить паровоз. Изменятся все представления, основанные на фактах того времени, когда женщины еще были огражденным полом, — например, то, что женщины, садовники и священники живут дольше всех. Разрушьте у женщин их защиту, уравняйте их в делах с мужчинами, сделайте из них солдат, матросов, машинистов, докеров, и разве не станут женщины вымирать с такой угрожающей быстротой, что однажды кто-то заметит: «Я сегодня женщину видел», как бывало говорили: «А я сегодня видел аэроплан». Все может случиться, если женщины потеряют свое лицо, подумала я, открывая дверь. Но какое это имеет отношение к теме моего доклада «Женщины и литература»? — и с этим вопросом я вошла в дом.

ГЛАВА 3

Досадно вернуться домой с пустыми руками, не найдя за целый день ни одного веского мнения или точного факта. Женщины бедней мужчин, почему — неизвестно. Так не лучше ли оставить мои поиски истины и поберечь голову от потока мнений, горячих, как лава, и мутных, как застойная вода? Задернуть шторы, сосредоточиться, зажечь лампу, уточнить вопрос и спросить у историка, которого интересуют факты, а не мнения, — в каких условиях жили англичанки, скажем, в елизаветинскую эпоху?

Удивительная загадка, почему у них слова не вырвалось при том исключительном состоянии литературы, когда, кажется, каждый второй мужчина мог сложить песню или сонет. В каких же условиях они жили? — задалась я вопросом, ибо литература, плод воображения, не возникает с непреложностью научной истины. Литература словно паутина — пусть легче легкого, но привязана к жизни, ко всем ее четырем углам. Порой связь едва ошутима: например, пьесы Шекспира, кажется, держатся сами собой. Когда же нить идет вкось, цепляется, рвется, вспоминаешь, что сотканы эти паутины не на облаках бестелесными созданиями, а выстраданы людьми и привязаны к грубой прозе: щоровью, деньгам, жилью.

Я подошла к полке с книгами по истории и взяла «Историю Англии» профессора Тревельяна. Отыскиваю в оглавлении «Положение женщины» и открываю указанные страницы. «Считалось, — цитирую, — что муж вправе бить свою жену, и этим правом пользовались без стеснения». «Собственно, то же наказание, — продолжает автор, — ожидало и дочь, если она отказывалась выйти замуж по воле родителей. Как правило, ее запирали, били и таскали за волосы, и это никого не ужасало. Брак был вопросом семейной выгоды, а не личной симпатии, особенно в высших, «рыцарских», слоях общества…Помолвки часто заключались между младенцами, а браки — между детьми». Так было в 1470-е годы, уже после Чосера. Следующая справка о положении женщины дается лишь спустя два столетия. «Выбор супруга по-прежнему остается привилегией женщин высшего и среднего сословия, и по-прежнему супруг — это бог и господин, по крайней мере в рамках общепринятого и дозволенного в обществе». «Но даже и в этих условиях, — заключает профессор, — женщины не страдают бесхарактерностью и безликостью; взять хотя бы героинь Шекспира или реальные лица из мемуаров семнадцатого века, скажем семейство Верни или Хатчинсон».

Конечно, если приглядеться, Клеопатра — женщина с характером, леди Макбет умела добиваться своего, да и в Роза-линде была своя девичья прелесть. Профессор Тревельян сказал лишь правду, заметив, что шекспировские героини не лишены ума и не страдают бесхарактерностью и безликостью. Не историк пошел бы еще дальше и заявил, что у поэтов всех времен женщины горят как маяки: Клитемнестра, Антигона, Клеопатра, леди Макбет, Федра, Крессида, Розалин да, Дездемона, герцогиня Мальфи — у драматургов; у прозаиков: Милламант, Кларисса, Бекки Шарп, Анна Каренина, Эмма Бовари, госпожа де Германт — не счесть имен, и никто «не страдает бесхарактерностью и безликостью». Если бы женщина существовала только в литературе, созданной мужчинами, ее, наверно, приняли бы за страшно важную персону, многогранную личность: возвышенную и низкую, блестящую и жалкую, бесконечно прекрасную и крайне уродливую, во всех отношениях ровню мужчине и даже более значительную, чем он, как считают некоторые.[6] Но это в литературе. А в жизни, констатирует профессор Тревельян, женщину запирали, били и таскали за волосы.

Вырисовывается очень странное и сложное существо. Представить — нет значительнее; на деле — совершенный нуль. Она переполняет поэзию и полностью вычеркнута из истории. В ее руках жизнь королей и завоевателей — но это в литературе; фактически же она — рабыня мальчика с той минуты, как его родные наденут ей обручальное кольцо. Вдохновеннейшие слова, глубочайшие мысли слетают с ее уст; в реальной жизни она едва ли читала и писала, являясь мужниной законной собственностью.

Дичь страшная, если читать сначала историков, а потом поэтов, — червяк с орлиными крыльями, светлый и прекрасный ангел на кухне за рубкой говяжьих потрохов. В жизни этих монстров не существует, как бы ни тешили они воображение. Если мы хотим приблизиться к реальности, нам надо исходить одновременно из прозы и поэзии жизни, то есть держаться фактов: вот это миссис Мартин, ей тридцать шесть, она в синем платье, на голове черная шляпа, на ногах коричневые туфли, — но и о душе не забывать, этом вместилище вечно пульсирующих чувств и мыслей. Однако, подойди мы с этой меркой к женщине елизаветинской эпохи, и у нас ничего не выйдет. Мы не знаем о ней никаких подробностей, ничего точного и веского. История о ней молчит. И я снова обратилась к книге профессора Тревельяна, чтоб выяснить, а что, собственно, понимает он под историей. С мотрю названия разделов: «Поместье лорда-мэнора и система неогороженных полей… Цистерцианцы и овцеводство… Крестовые походы… Создание университета… Палата общин…

Столетняя война… Война Алой и Белой розы… Ученые эпохи Возрождения… Распад монастырей… Борьба за землю… Религиозная война… Создание военно-морского флота… Непобедимая армада…» — вот что такое история для профессора Тревельяна. Иногда мелькнет женское имя Марии или Елизаветы, королевы или знатной дамы. Но чтобы женщины среднего класса лишь силой своего ума и характера стали участницами хотя бы одного из великих событий истории — это исключено. Не найдем мы женщину и в сборниках анекдотов. Обри о ней почти не упоминает. Мемуаров она не пишет, дневник — едва ли; уцелела только горстка писем. Как нам судить о ней, если она не оставила после себя ни пьес, ни стихов? У нас нет информации — и почему бы какой-нибудь умнице студентке из Гэртона или Ньюнхема не восполнить этот пробел? — во сколько лет женщина выходила замуж, сколько обычно имела детей, что у нее был за дом, была ли своя комната, сама ли готовила или могла нанять служанку. Эти сведения, наверное, пылятся в приходских метриках и бухгалтерских архивах; жизнь средней елизаветинки, должно быть, рассыпана где попало — вот бы восстановить ее по крохам! Я не предлагаю студенткам знаменитых колледжей переписать историю, хотя она мне и кажется несколько нереальной, призрачной, однобокой, подумала я, тщетно ища на полках нужные книги… Но почему бы им не написать приложение к истории? Разумеется, с каким-нибудь неброским названием, как и подобает женщинам. Ибо биографии великих не удовлетворяют: в них женщина только мелькнет и тут же скрывается в тень, пряча намек, улыбку и иногда, мне кажется, слезу. Я не говорю о Джейн Остен — ее биографий как раз достаточно; едва ли нужно пересматривать влияние трагедий Джоанны Бейли на поэзию Эдгара По; дома с привидениями Мери Митфорд можно вообще закрыть для публики лет на сто. Скверно другое, продолжала я обводить глазами полки, мы с вами ничего не знаем о женщинах до восемнадцатого века. Не от чего оттолкнуться. Я спрашиваю, почему в елизаветинскую эпоху не было женщин-поэтов, а сама толком ничего не знаю об их воспитании, образе жизни: учили ли их писать, был ли у них свой угол в общей комнате, у многих лиц к двадцати годам были дети — короче, чем они занимались целый день? Денег у них точно не было; по словам профессора Тревельяна, их выдавали замуж против воли прямо из детской — вероятно, лет пятнадцати. Уже поэтому было бы странно, если б одна из них писала, как Шекспир, решила я — и вспомнила о старом джентльмене, епископе, ныне покойном, который заявил, что у женщины не может быть шекспировского гения ныне и присно и во веки веков. И даже написал об этом в газеты. Даме,

обратившейся за разъяснениями, он сказал, что кошек на небо не берут, хотя, добавил, у них есть что-то вроде души. Как привыкли думать за женщин старые бесы! Как безграничен человеческий мрак! Кошек на небо не берут. Женщинам не написать шекспировских пьес.

И все же в одном, я поглядела на полку, заставленную пьесами Шекспира, его преосвященство, пожалуй, прав: не могла современница Шекспира создать шекспировские пьесы. Раз с фактами туго, позвольте мне представить, что могло бы произойти, будь у Шекспира на редкость одаренная сестра, скажем, по имени Джудит. Сам он, видимо, ходил в грамматическую школу (у его матери было наследство) и там наверняка познакомился с латынью — Овидием, Вергилием, Горацием и с началами грамматики и логики. Как известно, он был безудержный малый, браконьерствовал, таскал кроликов, может, даже раз подстрелил оленя и рановато женился на женщине из своей округи, родившей ему ребенка быстрее, чем предписано приличиями. Эта эскапада заставила его попытать счастья в Лондоне. Ему понравился театр, начинает конюхом при сцене. Вскоре добивается работы в труппе, становится любимцем публики, все это время живя в гуще событий, кого только не зная, с кем не встречаясь, разрабатывая свое искусство на подмостках, оттачивая остроумие в толпе, даже имея доступ во дворец ее величества. А одаренная его сестра все это время, представьте, оставалась дома. Она была такая же авантюристка, такая же выдумщица и путешественница в душе, как ее брат. Но в школу ее не отдали. У нее не было возможности учить грамматику и логику, читать Горация или Вергилия. Возьмет, бывало, книгу, скорей всего брата, прочтет две-три страницы, и вдруг входят родители и говорят: чем мечтать над книжками, поштопай-ка чулки или посмотри жаркое. Они были, вероятно, к ней строги — для ее же блага, ибо люди были здравые, понимали, что такое жизнь женщины, и дочку свою любили — отец, наверное, в ней души не чаял. Кто знает, может, забравшись на чердак, тайком ото всех она и царапала какие-то странички, а после со всей предосторожностью прятала их или сжигала. Но вот ее, несовершеннолетнюю, просватали за сына торговца шерстью из их округи. Мне ненавистен брак! — крикнула она отцу, за что была им жестоко бита. Потом, правда, он перестал бранить ее. Умолял пощадить, не позорить старика своей строптивостью. Он ей юбку тонкую подарит или бусы, говорит ей, а у самого на глаза навертываются слезы. Как она может его не слушаться? Как может терзать родительское сердце? Сила собственного дара — что же еще? — заставила ее решиться. Связала в узелок вещи, летней

ночью выпрыгнула в сад и зашагала в Лондон. Ей было всего шестнадцать, а музыкальности — не меньше, чем у птиц в придорожных яблонях. Она могла взять любую ноту этого мира и — как ее брат — с ходу начать импровизировать. Ей тоже нравился театр. Толкнула дверь: хочу, говорит, играть на сцене. Мужчины покатились со смеху. Толстяк-хозяин, брызжа слюной, громко заржал. Он что-то проревел — она не поняла — насчет танцующих собак и лицедействующих женщин — ни одна из вас, сказал он ей, не может быть актрисой. Намекнул — догадываетесь на что. С этой минуты двери театра были для нее закрыты. Ей нельзя было даже зайти в таверну пообедать или бродить ночью одной по улице. И все-таки ее стихией была литература, гений ее изголодался по жизни людей, их характерам. В конце концов, она ж молоденькая, лицом до странного похожа на поэта Шекспира, те же серые глаза и круглые брови, — Ник Грин, хозяин актерской труппы, сжалился над ней. Она забеременела по его милости и зимней ночью — кто измерит отчаяние таланта, попавшего в вечные женские силки? — покончила с собой и с тех пор покоится на развилке, где буксуют современные авто, напротив гостиницы «Слон и замок».

Так примерно мог бы пойти рассказ, я думаю, если бы у современницы Шекспира обнаружился шекспировский гений. Только не могло его у нее быть — тут я согласна с его покойным преосвященством. Такой талант не вырастает среди батрачества, темноты, холопства. Не расцвел он у древних саксов с бриттами. Не видно и сегодня у трудящихся. Так мог ли он развиться среди женщин, если за работу они принимались, по словам профессора Тревельяна, чуть ли не с порога детской, принуждаемые родителями и всей властью закона и уклада? И все же таилась в женщинах, как и в трудовом люде, искра гения. Нет-нет да и вспыхнет какая-нибудь Эмили Бронте или какой-нибудь Роберт Бёрнс и подтвердит ее существование. Когда читаешь о ведьме, обмакнутой в воду, о женщине, в которую вселился бес, о знахарке с травами или каком-то одареннейшем человеке, сыне своей матери, — я думаю, мы с вами выходим на след погибшего прозаика или потаенного поэта, безвестной Джейн Остен, безгласной Эмили Бронте, что надрывала ум на вересковых пустошах или бродила, гримасничая, по дорогам, обезумев от пытки, на которую обрек ее талант. Я даже рискну угадать — неизвестным автором стольких безымянных наших стихов часто была женщина. Это ей, по мнению Эдварда Фитцджеральда, мы обязаны нашими балладами и песнями, ими баюкала она свое дитя, коротала долгие зимние сумерки за прялкой.

Правда это или нет — а кто скажет? — но, проверив свою

историю об одаренной сестре Шекспира, я нашла ее правдоподобной в том смысле, что, уродись в шестнадцатом веке гениальная женщина, она наверняка помешалась бы, или застрелилась, или доживала свой век в домишке на отшибе, полуведьмой, полузнахаркой, на страх и потеху всей деревне. Не нужно быть большим психологом, чтобы знать: попробуй только одаренная душа заявить о своем таланте, ее так одернули бы и пригрозили, она была бы так измучена и раздираема противоречивыми инстинктами, что почти наверняка потеряла бы здоровье и рассудок. Пойти пешком без провожатых в Лондон, стать на пороге сцены и заговорить о себе в присутствии господ актеров — для девушки в те времена это значило бы совершить над собой насилие и испытать неизбежные душевные муки. И пусть они напрасны — фетиш безгрешия создается обществом на неразумных основаниях, — но целомудрие для женщины — святыня, оно так срослось с ее инстинктами и нервами, что лишь отчаянная смелость может отсечь его и вынести на дневной свет. Вести открытую жизнь художника в Лондоне в шестнадцатом веке для женщины было равносильно самоубийству. А если бы она все-таки выжила, все из-под ее пера вышло бы скомканным и изуродованным от сдавленного истеричного сознания. И уж конечно, свою работу — я оглянулась на полку, где нет женских пьес, — она б не подписала. Этим убежищем она бы обязательно воспользовалась. Живучее чувство целомудрия и в девятнадцатом веке требовало от женщин безымянности. Каррел Белл, Джордж Элиот, Жорж Санд — все жертвы внутренней борьбы, судя по произведениям, тщетно пытались скрыться за мужским именем. Этим они отдавали дань условности, которую мужчины постоянно исподволь внушали: гласность для женщины отвратительна (главное достоинство женщины — не давать повода для сплетен, говорил всеми цитируемый Перикл). И поэтому безы-мянность, желание закрыться вуалью у женщин в крови. Они и сейчас не так обеспокоены своей славой, как мужчины. Во всяком случае, мимо надгробных плит проходят довольно спокойно. Их не тянет вырезать свои имена — в отличие от Альфа, Берта или Чеса, чей древний инстинкт не пропустит ни одной хорошенькой женщины — да что там женщины! — ни одной собаки, чтобы не поворчать: "Ce chien est a moi"{4}. Разумеется, масштабы бывают разные, подумала я, вспомнив Парламентскую площадь, берлинскую Аллею победы и другие улицы. Вместо собаки это может быть чужая земля или курчавый африканец. И в этом, кстати, заключается одно из преимуществ женщины — уметь пройти мимо даже очень красиво^ негритянки, не пожелав сделать из нее леди.

Выходит, та, что родилась поэтом в шестнадцатом веке, была несчастной, ей приходилось воевать с самой собой. Все ее жизненные условия и все внутри нее противилось тому состоянию, когда свободно излагается любая тема. А что это за особое состояние, которое вызывает и поддерживает творческую активность в художнике? — спросила я. Можно ли его очертить? И я открыла трагедии Шекспира. В каком состоянии духа писал Шекспир «Лира» или «Антония и Клеопатру»? Оно было, безусловно, самым благоприятным для творчества за все время существования поэзии. Хотя сам Шекспир ничего о нем не сказал. Мы знаем только, что он «не вымарал ни строчки». Впрочем, художники ничего о себе не рассказывали вплоть до восемнадцатого века. Руссо был первый, и уже к началу девятнадцатого века самосознание писателей обострилось настолько, что для них стало привычным изливаться в исповедях. Параллельно писались их биографии, и после смерти публиковались письма. И хотя мы не знаем, через что прошел Шекспир со своим «Лиром», нам известно, через что прошел Карлайл со своей «Французской революцией», с «Госпожой Бовари» — Флобер, через что пробивался Ките, пытаясь писать поэзию наперекор холодному миру и смерти.

Из бесчисленных исповедей и самоанализов узнаешь, что написать гениальное произведение — дело почти всегда неимоверно трудное. Всё против того, чтоб оно вышло из-под пера полным и невредимым. Обычно материальная сторона против. Собаки лают, люди вмешиваются, деньги нужно делать, здоровье ни к черту. И вдобавок ко всем невзгодам — пресловутое равнодушие мира. Он никого не просит писать стихи, романы, исторические хроники: мир в них не нуждается. Миру все равно, найдет ли Флобер нужное слово, проверит ли со всей дотошностью тот или иной факт Карлайл. Разумеется, за ненужное он не станет и платить. И вот художник — Ките, Флобер, Карл ей л — страшно мучается, особенно в самые творческие годы молодости, из-за всяческих помех и безнадежья. Проклятием, криком боли отзываются их исповеди. «Могучие поэты в невзгодах погибают» — их певческая ноша. Прорваться же можно только чудом, и, наверное, все книги выходят в чем-то недоношенными, недодуманными.

Но для женщин — я вглядывалась в пустые полки — эти трудности были неизмеримо страшнее. Женщина среднего класса даже в начале девятнадцатого века не могла и мечтать о своей комнате, не говоря о тихой или запертой от посторонних. Раз карманных денег милостью ее отца хватало лишь на платье, у нее никогда не наступало облегчения, которое приходило даже к

Китсу, Теннисону, Карлайлу — людям бедным — с прогулкой за город, с короткой поездкой во Францию, наконец, с отдельной крышей, худо ли бедно укрывавшей их от тяжб и ссор с домашними. Уже материальные трудности непреодолимы; нематериальные были в сто раз хуже. Каменное равнодушие мира к Китсу, Флоберу и другим гениальным писателям к женщине оборачивалось враждебностью. Ей мир не говорил, как им: «Пишите, если хочется, разницы никакой». Он гоготал: «Писать? Глупости придумала!» И тут необходима помощь студенток-психологов, подумала я, снова всматриваясь в пустоты на книжных полках. Давно пора измерить действие холода на ум художника — видела же я, как на одной ферме определяли влияние разных сортов молока на крысу. Поставили рядом две клетки — и вот результат: в одной маленькая, робкая, забитая, в другой матерый, ловкий, крупный зверь. Чем же мы кормим женщин в храме искусства? Я задала вопрос, припоминая тот обед из чернослива и драчены. А вместо ответа мне достаточно было открыть вечерний выпуск и прочитать, что лорд Беркенхед считает — впрочем, меня мало интересует мнение лорда Беркенхеда о женщинах и об их творчестве. Декан Айндж говорит — Бог с ним, с деканом. Специалисту-медику с Гарли-стрит я сразу скажу, что он может поднять на ноги всю Гарли-стрит своими воплями — во мне ни один нерв не дрогнет. Но г-на Оскара Браунинга, пожалуй, стоит процитировать, ибо он был одно время заметной фигурой в Кембридже и обычно экзаменовал студенток женских колледжей. Он любил заявлять, что «после проверки экзаменационных работ складывается впечатление, что независимо от поставленных оценок самая умная женщина интеллектуально ниже самого последнего мужчины». И с этими словами г-н Браунинг уходит к себе в комнаты и застает на диване спящего конюха — чистый скелет, лицо испитое, желтое, зубы черные, казалось, он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. «Это Артур, — говорит г-н Браунинг. — Славный мальчик, возвышенная натура». Не правда ли, это вторая, закулисная часть умиляет, даже придает фигуре г-на Браунинга некоторое величие? Мне всегда казалось, что две половинки этого портрета нужно соединить. И к счастью, это совсем не труДно сделать в наш век биографии и документа. Теперь мы можем оценивать мнения великих не только по их высказываниям, но и по их поступкам.

Теперь это возможно, а еще пятьдесят лет назад подобные мнения в устах какого-нибудь важного лица звучали устрашающе. Положим, отцу из самых добрых побуждений не хочется, чтобы его дочь ушла из дому и сделалась писателем, художником или

ученым. «Послушай умного человека», — скажет он, зачитывая вслух мнение г-на Оскара Браунинга. А ведь, кроме этого господина, были еще и «Сэтердей ревью», и г-н Грег, который подчеркивал, что «жизнь женщин зиждется на том, что мужчины их поддерживают, а они им в этом помогают», — целый хор авторитетных мнений об умственной безнадежности женщин. Прочитает женщина такое, и у нее руки опускаются, не идет работа. Перед ней всегда стояло барьером — «не возьмешь», «не сможешь», — и ей нужно было это опровергнуть, доказать свое. Возможно, на женщину-прозаика этот микроб сегодня уже не так действует после великих романисток девятнадцатого века. Но для художников он и сейчас еще не безопасен, и представляю, насколько он должен быть вреден и ядовит для музыкантов. В наше время женщина-композитор находится на положении актрисы времен Шекспира. Ник Грин из моего рассказа о сестре Шекспира сказал: женщине играть на сцене что псу плясать. Через двести лет Джонсон повторил его слова относительно женских проповедей. И сегодня я открыла книгу о современной музыке — прежние слова, в цивилизованном 1928-м, — о женщинах, сочиняющих музыку. «Собственно, о м-ль Жермен Тайфер достаточно будет повторить крылатые слова д-ра Джонсона о женщине в роли проповедника, конечно, применительно к музыке». «Сэр, женщине сочинять музыку — это все равно, что псу ходить на задних лапах. Не получается, но удивительно, что кто-то вообще пробует».[7] История повторяется слово в слово.

Итак, в девятнадцатом веке женщине тоже не давали заниматься творчеством, сказала я, захлопнув биографию Оскара Браунинга и иже с ним. Наоборот, ее всячески осаживали, оскорбляли нотациями и проповедями. Ее сознание было в постоянном напряжении, и она тратила силы и время, отвечая на тычки, уколы, опровергая одно, отражая другое. Здесь мы опять сталкиваемся с очень интересным мужским комплексом, который так сильно повлиял на женское движение. Я говорю об этом подспудном желании не столько подчинить ее, сколько самому быть первым, — оно ставит мужчину стражем на каждом шагу в искусстве, политике, даже когда он ничем, кажется, не рискует, а проситель покорен и предан. Даже леди Бесборо, я вспомнила, при всей ее страсти к политике, смиренно склоняется и пишет леди Гренвилл: «…Хотя я одержима политикой и много говорю о ней, но я совершенно с Вами согласна, что вмешиваться в это и любое другое серьезное дело женщина может не более, чем высказав свое мнение (и то, если ее спросят)». И она продолжает расточать свой энтузиазм, зная, что не встретит никаких препятствий, на страшно важную тему — первое выступление ее

мужа лорда Гренвилла в палате общин. Странный спектакль, подумала я. Пожалуй, история борьбы мужчин против женской эмансипации интереснее рассказа о самой эмансипации. Забавная могла бы выйти книга, если б студентка из Гэртона или Ньюнхема собрала достаточно примеров и вывела теорию. Только ей понадобились бы толстые перчатки и судебный барьер из чистого золота.

Сейчас это забавно, я закрыла леди Бесборо, а раньше воспринималось с жуткой серьезностью. Мнения, которые сегодня собираешь как анекдотичные и пересказываешь летним вечером друзьям, — когда-то эти мнения доводили до слез, уверяю вас. Многие среди ваших бабушек и прабабушек из-за них глаза выплакали. Флоренс Найтингейл криком кричала, мучилась. И потом, хорошо вам — когда вы поступили в колледж и у вас есть своя комната (или лишь спальная?) — говорить, что гений должен презирать подобные мнения, что гений должен быть выше мнений. К несчастью, как раз гениальных больше всего и задевают чужие мнения. Вспомните Китса. Вспомните, какие слова он высек на своем надгробье. Подумайте о Теннисоне, о… впрочем, вряд ли нужно доказывать неопровержимый и очень горький факт, что так устроен художник — его ранят чужие мнения. Литература усеяна обломками тех, кого слишком задевали людские толки.

Для художника эта зависимость от мнений вдвойне пагубна, подумала я, снова возвращаясь к вопросу о полноценном творческом состоянии. Ибо сознание художника в попытке излить постигнутое должно быть пламенным, как у Шекспира, — я взглянула на книгу, раскрытую на «Антонии и Клеопатре». В нем любое препятствие, все чужеродное должно перегореть дотла.

Вот мы говорим, что ничего не знаем о творческом состоянии Шекспира, но этим уже многое сказано. Возможно, мы потому знаем о нем так мало — в сравнении с Донном, Беном Джонсоном или Мильтоном, — что его зависти, злости, неприязни скрыты от нас. Автор нигде не напоминает о своей персоне. Любое «откровение», желание возразить, обличить, обнародовать обиду, отплатить, обнажить перед миром свою рану или язву поглощено творческим огнем без остатка. И поэзия его течет свободно и беспрепятственно. Если кто состоялся полностью как художник, так это Шекспир. Вот уж действительно пламенный, всепоглощающий ум, подумала я, снова подходя к книжному шкафу.

ГЛАВА 4

Итак, в шестнадцатом веке едва ли могла появиться женщина шекспировской свободы мысли. Задумайся любой о елизаветинских надгробьях с обычными фигурками младенцев на коленях, о ранней смерти женщин; взгляни на их дома с темными, тесными клетушками — могла ли хоть одна из них заниматься поэзией? Скорее какая-нибудь вельможная дама много позднее воспользуется своей относительной свободой, покоем и напечатает что-то под своим именем, рискуя прослыть чудовищем. Мужчины не снобы, продолжала я мысль, стараясь не касаться «отъявленного феминизма» мисс Ребекки Уэст, но они сочувствуют в основном графским попыткам в поэзии. Наверняка титулованная леди нашла бы более солидную поддержку, чем неизвестная Джейн Остен или мисс Бронте того времени. Но и, конечно, поплатилась бы за свою попытку губительным чувством страха и горечи, которое обязательно отпечаталось бы в ее стихах. Леди Уинчилси — я достала с полки томик. Она родилась в 1661 году, принадлежала к аристократическому роду, муж тоже происходил из знатной семьи, детей у них не было, писала стихи, а раскроешь — она вспыхивает от гнева против рабского положения женщин:

Как пали мы! В плену у образца,
От воспитанья дуры — не Творца;
Всех благ ума лишенные с рожденья,
В опеке глохнем мы, теряем разуменье;
И если ввысь поднимется одна,
Души стремлением окрылена,
Грозой объявится пред ней противник,
Надежда расцвести в сомненьи гибнет.

Ум ее отнюдь не «всепоглощающий и пламенный». Напротив — она изводит себя обидами и горечью. Человечество расколото для нее на два лагеря. Мужчины — «противник», они вселяют в нее страх и ненависть тем, что закрывают ей путь к желанному делу — писать.

Увы! лишь женщина возьмет перо,
Вмиг выскочкой ее объявят,
И никакая честь не оправдает.
Твердят: забыли мы обычай, пол,

Манеры, моды, танцы, платья, дом —
Предел и образец нам воспитанья;
Науки ж, книги, думы и писанье
Нам красоту лишь омрачат не в срок,
Поклонникам не быть у наших ног,
Меж тем блюсти порядок в доме рабском —
Вершина мастерства в искусстве дамском.

Она ободряет себя мыслью, что написанное останется неопубликованным, утешается печальной песнею:

В утеху другу пой, моя свирель,
Не ликовать тебе в лесах лавровых:
Смирись, и да сомкнутся глуше своды.

Но нет сомнений, пламя в ней бушевало бы вовсю, освободись она от страха и ненависти, не копи в душе негодования и горечи. Нет-нет да и вырвется настоящая поэзия:

Так с блекнущей парчой всегда не в лад
Непревзойденной розы дивный склад.

Критики справедливо восторгаются этим двустишием; говорят, другую пару ее строк присвоил себе Поуп:

Вдруг овладеет разумом жонкиль,
Душистый плен, и вырваться нет сил.

Невыносимо, что женщина, способная так писать, мыслями настроенная на созерцание и размышление, была доведена до гнева и горечи. А что она могла сделать? — спросила я, представив хохот и издевки, лесть приживалов, скептицизм профессионального поэта. Вероятно, заперлась в деревне, в отдельной комнате — писать, а сердце у ней разрывалось в приступах горечи или раскаяния, хотя у нее был добрейший муж и жили они душа в душу. Я говорю «вероятно», потому что мы почти ничего не знаем о леди Уинчилси. Она только страшно страдала меланхолией, и этому есть объяснение, по крайней мере в тех случаях, когда она рассказывает:

Стих высмеян, в занятии узрет
Каприз никчемный, самомненья бред.

Занятие же было самое невинное — бродить в полях и предаваться грезам:

> Рука — затейница созвучий странных,
> Привычные пути ей не желанны,
> Так с блекнущей парчой всегда не в лад
> Непревзойденной розы дивный склад.

Разумеется, если она находила в этом наслаждение, над ней могли только смеяться; и, правда, Поуп или Гей выставил ее «синим чулком с чернильным зудом». Но прежде, говорят, она посмеялась над Геем: сказала, что, судя по его «Тривии», «ему больше подходит сопровождать портшез, нежели в нем ехать». Впрочем, все это темные слухи — «неинтересные», говорят критики. Но здесь я с ними не согласна, мне хотелось бы побольше «темных слухов» о печальной леди, любившей бродить в полях и думать о необычном. Хочется представить женщину, которая так опрометчиво и неблагоразумно отвергла «порядок в доме рабском». Но она начинает заговариваться, утверждают критики. Ее талант порос бурьяном и диким шиповником. У него не было шанса показать себя во всей красе. И, убрав леди Уинчилси в шкаф, я обратилась к другой благородной даме — Герцогине, любимице Чарлза Лэма, фантазерке и оригиналке Маргарет Ньюкасл, ее старшей сестре и современнице. При всем их несходстве обе были аристократки, без детей, нежно любимы своими мужьями. Обе одержимы одной страстью к поэзии, а значит, покалечены и изуродованы одним и тем же бесплодным протестом. Раскрой Герцогиню, и она взорвется той же яростью: «Женщины живут, как Мыши или Совы, по-скотски, трудятся и умирают, словно Твари…» Маргарет тоже могла быть поэтом; в наши дни ее деятельность что-то бы да сдвинула. А тогда — какой уздой, в какую упряжь было запрячь горячую, дикую, необузданную фантазию? Она неслась без дороги, наобум, сплошным потоком стихов и прозы, философии и поэзии, застывшим в неразрезанных фолиантах. Вложить бы ей в руку микроскоп. Научить всматриваться в звезды и думать строго математически. Она же рехнулась от уединения и свободы. Никто ее не сдерживал. Не учил. Профессора перед ней лебезили. При дворе говорили колкости. Сэра Эджертона Бриджеса оскорбляла грубость из уст «женщины высшего общества, воспитанной при дворе». Она заперлась в своем поместье.

Какая жуткая картина одиночества и произвола встает при

мысли о Маргарет Ньюкасл! Словно в саду над гвоздиками и розами навис некий гигантский огурец и задушил их. Какая трата: прийти к мысли, что «самые воспитанные женщины — те, у кого просвещенный ум», и заниматься всякой ерундой, все глубже и глубже впадая во мрак и безумие, пока наконец не испустила дух на глазах у толпы, собравшейся вокруг ее кареты. Очевидно, помешанная Герцогиня служила пугалом для умных девочек. Я отложила ее книги и раскрыла письма некой Дороти Осборн, где она пишет своему будущему мужу о новой книге Герцогини. «Конечно, бедная женщина немного не в себе, иначе зачем бы она стала писать, да еще стихи, делая из себя посмешище; я б до такого позора никогда не дошла».

И раз воспитанной женщине не пристало писать книги, Дороти, тонкая, тихая Дороти, прямая противоположность Герцогини по темпераменту, ничего и не написала. Письма не в счет. Письма женщина может писать и сидя у постели больного батюшки. Или у камина, пока мужчины за столом беседуют и она их не очень раздражает. Самое странное, задумалась я, перелистывая письма Дороти, что у этой невыученной и одинокой девочки было поразительное чутье на контур фразы, на зарисовку происходящего. Вслушайтесь:

> «После обеда мы сидим и разговариваем, а потом разговор переходит на г-на Б., и я ускользаю. Жаркий день проходит за чтением или за работой, и в шестом или седьмом часу я иду на выгон, где молодые девки пасут скотину и, укрывшись в тени, поют баллады; я присаживаюсь и сравниваю их пение и красоту с греческими пастушками, про которых я читала, и нахожу огромную разницу, но, уверяю тебя, простоты в них ничуть не меньше. Я заговариваю с ними и вижу, что это счастливейший народ, но они этого не знают. Обычно в разгар нашей беседы одна вдруг оборачивается и видит, что ее корова идет к хлебам, и тогда все бросаются бежать, словно за ними кто-то гонится. Я же, тихоня, смотрю им вслед и, видя, что они погнали скотину к дому, решаю, что и мне пора. Поужинав, выхожу в сад, там у нас небольшой ручей — сижу и жалею, что тебя нет рядом…»

Поклясться можно, в ней были задатки писателя. Но читаешь ее «я б до такого позора никогда не дошла» — и сразу измеряется сила сопротивления пишущей женщине: даже талантливая Дороти убедила себя, что написать книгу — значит превратиться в посмешище, предстать чуть ли не умалишенной. И тут мы

встречаемся (я убрала томик писем Дороти) с миссис Бен.

С миссис Бен мы проходим труднейший участок на всем пути. Мы оставляем в парках одиноких леди наедине с их фолиантами, написанными не для аудитории и критики, а лишь в свое удовольствие. Мы входим в город и толкаемся в обычной уличной толпе. Миссис Бен была женщиной среднего класса и обладала всеми его плебейскими достоинствами — чувством юмора, цепкостью и решительностью. Из-за смерти мужа и собственных неудачных авантюр ей пришлось сильно поизворачиваться. Она трудилась наравне с мужчинами. И зарабатывала достаточно, чтобы не нищенствовать. Факт этот по значению перевешивает любую ее вещь, даже великолепные стихи «Я тысячу сердец заставила страдать…» или «Любовь царицей восседала…», ибо отсюда начинается свобода мысли для женщин или, вернее, надежда, что с течением времени ее сознание разговорится. Теперь уже любая девушка могла пойти к родителям и заявить: «Вам не нужно давать мне на расходы, я сама заработаю пером». Конечно, еще долгие годы перед ней захлопывали дверь с криком: «И жить будешь, как эта Афра Бен? Только через мой труп!» Здесь напрашивается интереснейшая тема — высокая цена женской добродетели в глазах мужчин и ее последствия для образования женщин. При желании у английских студенток могла бы выйти неплохая книга. В качестве фронтисписа предлагаю портрет леди Дадли, увешанной бриллиантами и в тучах шотландской мошкары. Ее муж, лорд Дадли, писала недавно «Таймс» в связи с ее смертью, «был украшен многими добродетелями и достоинствами, щедрый благотворитель, но при всем том капризнейший деспот. Он настаивал, чтобы его жена даже в отдаленнейших уголках Северной Шотландии, куда он уезжал охотиться, надевала парадное платье, он увешивал ее бриллиантами, ни в чем ей не отказывал — за исключением и малой доли самостоятельности». А потом с лордом Дадли случился удар, и она нянчилась с ним и отлично управляла его поместьями до конца дней своих. Капризный деспотизм процветал и в девятнадцатом веке.

Но вернемся к Афре Бен. Она доказала, что пером можно зарабатывать, жертвуя кое-какими придуманными женскими свойствами; и постепенно женщины начали браться за перо уже не по «безумию» или «в беспамятстве», а из чисто практических соображений. Положим, умер муж или на семью обрушилось какое-то несчастье. Сотни женщин с наступлением восемнадцатого века начали помогать родным, выручая деньги за переводы, за тьму слабых романов, ныне всеми позабытых, которые можно раскопать только у букинистов за четыре пенса.

Так что широкая активность среди женщин в конце восемнадцатого века — беседы, встречи, эссе о Шекспире, переводы классиков — имела уже под собой твердую почву: женщины стали зарабатывать своим творчеством. Деньги прйдали вес «пустому вздору». И хотя их еще можно было уколоть «синим чулком с чернильным зудом», но их практическую жилку отрицать уже было нельзя. Итак, к концу восемнадцатого века произошел сдвиг, который на месте историков я описала бы подробнее, чем крестовые походы или война Алой и Белой розы. Женщины среднего класса взялись за перо. Повторяю: не уединенные аристократки в загородных виллах среди фолиантов и обожателей, а обыкновенные женщины. И весомейшее доказательство тому — романы Джейн Остен, сестер Бронте и Джордж Элиот. Ибо без этой предварительной работы у великих английских романисток написалось бы не больше, чем у Шекспира без Марло, а у того — без Чосера, а у Чосера — без тех канувших поэтов, которые наметили дороги и укротили природную стихию языка. Шедевры не рождаются сами собой и в одиночку; они — исход многолетней мысли, выношенной сообща, всем народом, так что за голосом одного стоит опыт многих. Джейн Остен должна была бы возложить венок на могилу Фанни Берни, а Джордж Элиот — поклониться борцовской тени Элизы Картер: мужественная старуха привязывала к кровати колокольчик, чтоб встать спозаранок и сесть за греческий. Дождем цветов должны осыпать женщины надгробье Афры Бен, которое со скандалом, но весьма точно оказалось в Вестминстерском аббатстве, ибо это она, авантюристка и любовница, добилась для них права говорить в полный голос. Это она позволяет мне сегодня предожить вам: попытайтесь-ка зарабатывать самостоятельно пятьсот фунтов в год.

Наконец, рубеж девятнадцатого века. И здесь я впервые обнаружила несколько полок с книгами женщин. Но почему — пробежала их глазами — всё романы? Ведь первый толчок обычно бывает к поэзии? «Первым среди лириков» была женщина. И во Франции, и в Англии женщины-поэты появились раньше прозаиков. Наконец, подумала я о четырех знаменитостях, что общего у Джордж Элиот с Эмили Бронте? Разве у Шарлотты Бронте нашлась хоть точка соприкосновения с Джейн Остен? Более несовместимые личности трудно представить в одной комнате (и тем интереснее было бы свести их для разговора!). И все же почему-то они все писали романы. Не оттого ли, что они вышли из среднего класса? — спросила я. А у семьи среднего класса, как объяснила позднее мисс Эмили Дейвис, в начале девятнадцатого века была одна общая комната. Если женщина

решала писать, она писала в общей комнате. И как потом горько сетовала мисс Найтингейл («у женщин и тридцати минут нет… которые они могут назвать своими»), ее постоянно отрывали. И все-таки писать прозу было легче, чем пьесы или стихи. Не нужно большой сосредоточенности. Собственно, Джейн Остен так писала всю жизнь. «Как она все сумела написать, — пишет ее племянник в мемуарах, — вообще удивительно, ведь у нее не было своего кабинета, и большей частью ей приходилось работать в общей комнате, где все время возникали какие-нибудь помехи. Она зорко следила, чтобы о ее занятии не догадалась прислуга или кто-нибудь из гостей — словом, люди чужие».[8] Джейн Остен прятала свои рукописи или прикрывала их листком промокашки. Кроме того, единственным литературным коньком женщины в начале девятнадцатого века было наблюдение характеров, анализирование чувства. Ее чувствительность не один век развивалась под влиянием общей комнаты. Женщина воспитывалась на чувствах людей, их взаимоотношения все время были у нее перед глазами. Естественно, когда женщина среднего класса садилась писать, у нее выходила проза, хотя Эмили Бронте и Джордж Элиот по своей природе не только романистки. Первая могла бы писать поэтические пьесы; энергия же Джордж Элиот должна была перекинуться, когда творческий импульс иссяк, на биографию или историю. И тем не менее они всю жизнь писали романы, и, сказать больше (я сняла с книжной полки «Гордость и предубеждение» Джейн Остен), хорошие писали романы. Без хвастовства или желания задеть другой пол любая из нас может сказать: «Гордость и предубеждение» — хорошая книга. Во всяком случае, ни одна не устыдилась бы, поймай ее за работой над рукописью. А вот Джейн Остен — та прислушивалась к скрипу дверной петли и скорее прятала листки, пока кто-нибудь не вошел. Она стеснялась. А интересно — как сказывалась на ее работе эта вынужденная игра в прятки? Читаю страницу, другую, но нет, не замечаю, чтобы ее работа хоть малейшим образом страдала от обстоятельств. И это, пожалуй, самое удивительное. 1880 год, и женщина пишет без всякой ненависти, без страха, без горечи, без осуждения, без протеста. Так Шекспир писал, подумала я, взглянув на «Антония и Клеопатру»; и, возможно, сравнивая Шекспира и Джейн Остен, люди хотят сказать, что сознание обоих поглотило все препятствия и мы поэтому так мало о них знаем: как и Шекспир, Джейн Остен свободно живет в каждом своем слове. Если она и страдала от обстоятельств, то лишь от узости навязанной ей жизни. Женщине нельзя было ходить одной. Она никогда не путешествовала, не ездила по Лондону в омнибусе, не завтракала одна в кафе. Но, может, не в

природе Джейн Остен было требовать иного. Ее дар и ее образ жизни не противоречили друг другу. А вот для Шарлотты Бронте это едва ли справедливо, и я открыла «Джейн Эйр» и положила ее рядом с романом Джейн Остен.

Открыла я на 12-й главе, и в глаза бросилась фраза: «Пусть меня кто угодно упрекнет». В чем же, интересно, упрекали Шарлотту Бронте? И я прочла, как Джейн Эйр заберется, бывало, на чердак, пока миссис Фэрфекс варит варенье, и смотрит на поля, вдаль. Тогда она мечтала — за это ее и упрекали —

> «тогда я мечтала обладать такой силой воображения, чтоб разорвать границы, проникнуть в кипучий мир, в города, страны, полные жизни, о которых я слышала, но никогда не видела: как мне тогда хотелось иметь больше жизненного опыта, больше общаться с моими сверстницами, познакомиться с самыми разными характерами, а не только с теми, кто был поблизости. Я ценила все доброе в миссис Фэрфекс и Адели, но я верила в существование другой, более яркой формы добра, и мне хотелось видеть то, во что я верила.
>
> Кто меня упрекнет? Знаю, многие назовут меня неудовлетворенной. Я же не могла иначе: нетерпение было у меня в крови, оно обжигало меня иногда до боли…
>
> Напрасно говорят — люди должны удовольствоваться безмятежностью: им необходимо действие, и, если им не найдется дела, они его сами выдумают. Миллионы обречены на более неподвижное существование, чем я, и миллионы молчаливо борются со своим жребием. Никто не знает, сколько бунтов вызревает в толщах людской породы. Женщин вообще считают очень уравновешенными, но они так же чувствуют, как и мужчины; так же нуждаются в постоянном упражнении своих способностей и в поле деятельности, как и их братья; точно так же страдают от слишком жестких колодок, от полного застоя, как и мужчины наверняка страдали бы… Лишь от узости сознания наши более привилегированные ближние советуют нам ограничиться пудингами, штопкой чулок, игрой на фортепьяно и рукоделием. Глупо осыпать проклятиями или высмеивать тех, кто старается сделать больше или научиться большему, чем предписано обычаем.
>
> Оставшись одна, я не раз слышала смех Грейс

Пул…»

Неуклюжий обрыв, подумала я. Ни с того ни с сего вдруг натолкнуться на Грейс Пул — беспорядок, нарушено целое. Любой скажет, продолжала я свою мысль, в женщине, написавшей эти страницы, больше заложено, чем в Джейн Остен, а вчитается — здесь рывок, там взрыв негодования — и поймет, что никогда ей не добиться полноты и цельности. Ее книги прежде перекосит и изломает. Она будет бушевать там, где требуется спокойствие. Заторопится вместо того, чтобы действовать обдуманно. Напишет о себе, когда надо о своих героях. Она воюет со своей судьбой. Как было ей не умереть в молодости, вконец издерганной?

Остается увлечься на секунду мыслью, что случилось бы, имей Шарлотта Бронте триста фунтов в год — но безрассудная женщина отдала свое авторское право за полторы тысячи фунтов! — приобрети она каким-то образом больше знаний о кипучем мире, городах и странах, полных жизни, больший жизненный опыт и общение с единомышленниками, знакомство с разными характерами. Своими словами она прямо указывает не только на собственные минусы романистки, но и на минусы всего женского пола того времени. Она лучше других знала, как выиграл бы ее талант, если б не тратилась на миражи, если бы у нее была возможность общаться, путешествовать, набирать опыт. Но ей не дали такой возможности, и мы должны принять за факт, что все эти добрые книги — и «Вильетт», и «Грозовой перевал», и «Мидцл-Марч» — написаны женщинами, чей жизненный опыт был ограничен четырьмя стенами родительского дома, женщинами, настолько бедными, что им приходилось буквально по десятям{5} покупать бумагу, чтобы закончить тот же «Грозовой перевал» или «Джейн Эйр». Правда, одна из них, Джордж Элиот, вырвалась после долгих метаний, но и то лишь на загородную виллу в Сент-Джонз-Вуд, где и засела изгнанницей. «Я хочу быть правильно понятой, — пишет она, — я никого к себе не приглашаю, кроме тех, кто сам пожелал прийти». Разве не известно, что она состояла в греховной связи с женатым мужчиной и один вид ее мог осквернить целомудрие миссис Смит при случайной встрече? Оставалось одно — подчиниться условности и «перестать существовать для так называемого света». А в это самое время на другой стороне Европы совершенно свободно жил молодой человек, сегодня с цыганкой, завтра с княгиней; ходил воевать; познавал без помех и надзора все разнообразие человеческой жизни, что блестяще сослужило ему службу, когда он начал писать книги. Если бы Толстой жил в монастырской келье с замужней женщиной, перестав «существовать для так

называемого света», то, как бы ни поучительна была такая практика, вряд ли он написал бы «Войну и мир».

Но можно, наверное, еще немного углубить вопрос о романе и влиянии пола на романиста. Закрыть глаза и представить роман вообще — увидится строение, зеркально схожее с жизнью, разумеется, со многими упрощениями и искажениями. И уж само строение фиксируется в нашем сознании то в образе квадратов либо пагоды, то раскинувшихся крыльев и аркад, то монолига под куполом, подобного собору св. Софии в Константинополе. Эти образы, подумала я, оглядываясь на знаменитые романы, вызывают у нас соответствующую реакцию. Но поскольку строится роман из отношения не камня к камню, а человека к человеку, впечатление сразу смешивается с другими нашими переживаниями. Роман поднимает целую бурю несогласных и противоречивых чувств. Жизнь спорит с чем-то, что не является жи-шью. Договориться о романах поэтому всегда трудно, и влияние личных пристрастий очень велико. С одной стороны, мы чувствуем: Джон, герой, ты должен жить, иначе мне будет очень плохо. И одновременно — увы, Джон, тебе придется умереть, этого требует склад романа. Жизнь спорит с чем-то, что не является жизнью. Но коль скоро роман все же связан с жизнью, мы о нем так и судим. «Джеймс из тех людей, которых я не выношу», — скажет иной. Или — «абсурдная мешанина, такое невозможно почувствовать». В целом же, если мысленно окинуть любой знаменитый роман, это сложнейшая постройка, собранная из множества разных суждений. Удивительно, как вообще держатся романы более года или двух и могут иметь для английского читателя тот же смысл, что для русского или китайца. Но иногда они держатся просто замечательно. И выстаивают в редких случаях (я раздумывала над «Войной и миром») благодаря так называемой безукоризненности писателя (что не связано с оплатой счетов или благородным поведением в критической ситуации). Безукоризненность художника — это ощущение правды, которое он дает каждому из нас. Да, чувствует иной, никогда не думал, что так может быть, ни разу не встречал людей, которые вели бы себя подобным образом. Но вы меня убедили в этом — значит, случается. Ибо, читая, мы каждую фразу, каждую картину как бы смотрим на свет — чудно, но Природа снабдила нас внутренним светом, чтобы судить о безукоризненности писателя. Или, может быть, в приливе безудержной фантазии она лишь обозначила на стенах нашего ума симпатическими чернилами некое предчувствие, подтверждаемое великими художниками, некий набросок, который нужно поднести к пламени гения, чтобы он проявился. И

вот он на глазах оживает, и тебя охватывает восторг: я же всегда это чувствовал, знал и стремился к этому! И не унять волнения, и, перевернув страницу, книгу ставят на полку уже с благоговейным чувством, словно это что-то очень драгоценное, опора, к которой возвращаются всю жизнь, сказала я, держа «Войну и мир» и убирая в шкаф. Если, с другой стороны, бойкие предложения, что берешь и смотришь на свет, в первую минуту увлекают яркой окраской и смелыми жестами, а потом — стоп, что-то их удерживает в развитии или если с ними проступают лишь слабые царапины и пятна по углам сознания, а целого и законченного не возникает, тогда вздыхаешь разочарованно и говоришь: очередная неудача. И этот роман не устоял.

И так очень многие романы. Воображение сдает под непосильным напряжением. Притупляется взгляд, уже не различить правду и ложь; нет силы ежеминутно сосредоточиваться. А интересно, как влияет на работу романиста его пол, — я думала о «Джейн Эйр» и ее сородичах. Не вредит ли он безукоризненности женщины-прозаика — тому, что я считаю спинным хребтом писателя? По отрывку, что я процитировала из «Джейн Эйр», ясно видно: гнев смещал писательские позвонки Шарлотты Бронте. Она бросила свой рассказ совсем беспомощным и занялась личной обидой. Она вспомнила, как голодала по настоящему опыту — как коснела в доме приходского священника за штопкой, когда ей хотелось вольно бродить по свету. От негодования ее воображение свернуло в сторону, и мы это почувствовали. Но было и множество других помех плодотворному развитию ее фантазии. Невежество, например. Портрет Рочес-тера сделан вслепую, в нем проглядывает страх. Еще мы постоянно ощущаем едкость — результат угнетения, и подспудное страдание, тлеющее под ее страстью, и затаенную вражду, которая сводит эти великолепные книги мучительной судорогой.

А раз роман согласуется с реальной жизнью, его ценности — в какой-то мере жизненные. Только ценности женщин очень часто не совпадают с расценками, установленными другим полом, и это естественно. Однако превалируют мужские ценности. Грубо говоря, футбол и спорт — «важно», покупка одежды — «пустое». Неизбежно этот ценник из жизни переносится в литературу. «Значительная книга, — серьезно рассуждает критик, — она посвящена войне». «А эта — ничтожная, про женские чувства в гостиной». Батальная сцена важнее эпизода в магазине — всюду и гораздо тоньше различие в оценках утверждается. И, следовательно, все здание женского романа начала девятнадцатого века было выстроено слегка сдвинутым

сознанием, вынужденным в ущерб своему развитию считаться с чужим авторитетом. Перелистай давно позабытые романы, и сразу угадаешь между строк постоянный ответ женщины на критику: здесь она нападает, а здесь соглашается. Признает, что «она всего лишь женщина», или возражает: «ничем мужчины не хуже». Отвечает, как ей подсказывает темперамент, послушно и робко или гневно и с вызовом. И дело даже не в оттенках — она думала о постороннем, а не о самом предмете. И вот ее книга падает на наши г оловы, как неспелое яблоко с червоточиной. И я подумала обо всех женских романах, что валяются, словно падалица в саду, по второсортным букинистическим лавкам Лондона. Их авторы изменили своим ценностям в угоду чужому мнению.

Но и как трудно было женщинам стоять, не шелохнувшись ни вправо, ни влево! Какой самостоятельностью надо было обладать, чтобы перед лицом всей этой критики, среди исключительно патриаршей публики держаться твердо своего взгляда на вещи. Только Джейн Остен выдержала, и Эмили Бронте. И это, возможно, самая главная их победа. Они писали как женщины, а не как мужчины. Из тысячи писавших тогда женщин одни они полностью игнорировали вечную директорскую указку — пиши так, думай эдак. Одни они остались глухи к настойчивому голосу, то ворчливому, то милостивому, то жесткому, то искренне опечаленному, то шокированному, то гневному, то добренькому дядюшкиному. Голосу, навязанному женщинам как слишком ревностная гувернантка, что пилит и пилит их, заклиная интонациями сэра Эджертона Бриджеса быть леди, даже в критику поэзии влезая с критикой пола,[9] увещевая их, если будут хорошо вести себя и выиграют, надо понимать, какой-нибудь мишурный приз, и впредь держаться рамок, указанных господином критиком: «…Романистки должны добиваться мастерства исключительно путем смелого признания ограниченности своего пола».[10] Коротко и ясно, и, если я, к вашему удивлению, скажу, что сентенция написана в августе не 1828-го, а 1928 года, полагаю, вы согласитесь, что при всей ее сегодняшней трогательности она представляет достаточно массовое мнение — я не собираюсь волновать старое болото, я только подняла случайно выплывшее под ноги, — мнение, которое век назад выражалось намного энергичнее и громче. Нужно было быть очень стойкой молодой женщиной в 1828 году, чтоб устоять против всех щелчков по носу, отчитываний и обещаний призового места. В любой должно быть что-то от горящей головни, чтобы сказать себе: литературу им не купить. Литература открыта для всех. Я не позволю вам, господа педели,

согнать меня с травы. Запирайте свои библиотеки, если угодно, но на свободу моей мысли никаких запоров, никаких запретов, никаких замков вам не наложить.

Но как бы ни страдало писательское дело женщин от окрика и критики, это не шло в сравнение с другой их трудностью; я еще вглядывалась в романисток девятнадцатого века: за ними не было традиции, или была, но до того короткая и случайная, что не помогала. Женщины в литературе всегда мысленно оглядываются на матерей. Идти за помощью к великим писателям-мужчинам им бесполезно, с какой бы радостью они к ним ни обращались. Лэм, Браун, Теккерей, Ньюмен, Стерн, Диккенс, Де Квинси — кто угодно — никогда еще не помогли женщине, хотя она, может, и переняла у них пару приемов и приспособила к своей руке. Весом, шагом, ритмом мужской ум слишком отличается от ее собственного, чтобы ей удалось скопировать что-то существенное. Мартышкин труд, сколько ни старайся. Возможно, первое, что обнаружила женщина, взяв перо, — ей не от чего оттолкнуться в языке. Все великие прозаики, подобные Текке-рею, Диккенсу, Бальзаку, писали естественной прозой — ходкой, выразительной, без вычурности и излишеств, принадлежащей именно им, и притом общей. За основу ее они брали ходовую сентенцию времени. В начале девятнадцатого века она звучала в таком духе: «Грандиозность создаваемого не останавливала их, но побуждала к действию. Ничто не могло дать им большего импульса или удовлетворения, чем разработка своего искусства, бесконечное возведение истины и красоты. Успех окрыляет, усилие же вознаграждается успехом». Это чисто мужское суждение — за ним видишь Джонсона, Гиббона и остальных. Куда с ним женщине? Шарлотта Бронте, при всем ее таланте, спотыкалась и падала с этим нескладным оружием. Джордж Элиот натворила с ним бед. А Джейн Остен посмотрела, улыбнулась и придумала свое, очень естественное, ловкое, — и никогда от него не отступала. В итоге: таланта меньше, чем у Шарлотты Бронте, а сказать сумела несравнимо больше. Если свобода и полнота высказывания — плоть искусства, то отсутствие традиции, скудость и несообразность средств должны были чрезвычайно сказаться на писательском деле женщин. А кроме того, книга ведь складывается не из образов, поставленных в ряд, а, так сказать, из архитектуры образов в форме аркад или куполов. Но и эта форма тоже дело мужских рук. Нет основания считать, что форма эпической или поэтической пьесы более удобна женщине, чем проза. Просто, когда она стала писателем, все более старые литературные формы успели отвердеть и застыть. Роман единственный был достаточно молод и мягок под ее пальцами —

возможно, еще поэтому она писала романы. Но кто сейчас скажет — «роман молод»? И что даже эта наиподатливейшая из форм не стесняет ее руку? Мы еще увидим, нет сомнений, как она обкатает ее по-своему, — дайте ей только научиться свободно владеть членами, и она найдет новый выход своей поэзии, и не обязательно в стихах. Ибо именно поэзию до сих пор держат под спудом. И я задумалась над тем, как бы женщина в наши дни написала поэтическую драму в пяти актах. Стихами? Или все-таки прозой?

Впрочем, все это непростые вопросы, скрытые в потемках будущего. Я, пожалуй, их оставлю, ибо они побуждают меня уклониться от нашего предмета в нехоженые чащи, где того гляди потеряюсь и меня разорвут дикие звери. Я не хочу — и вы, надеюсь, тоже не хотите — обсуждать эту очень туманную тему, будущее литературы, и я только на минуту остановлю ваше внимание на той огромной роли, которую тогда будут играть физические условия, во всяком случае у женщин. Книгу нужно так или иначе приспособить к своему существованию, и можно заранее сказать, что у женщин книги должны быть покороче, посжа-тей, чем у мужчин, и рассчитаны на немногочасовое непрерывное сидение. Ибо отрываться женщине все равно придется. Кроме того, нервная система у мужчин и женщин не одинакова, и, если вы хотите, чтобы ваша работала с полной отдачей, нужно выяснить, что вам подходит — эти лекции, придуманные монахами тысячу лет назад, или все же что-то другое? Как лучше женщине чередовать труд и отдых, понимая под отдыхом не безделье, а тоже занятие, только иного рода, и какое сочетание занятий будет самым плодотворным? Все надо обсудить, до всего доискаться; все это входит в проблему женщин и литературы. Я снова потянулась к книжному шкафу: где найти мне у женщин искусный анализ женской психологии? Если из-за неумения играть в футбол им не дадут заниматься медициной…

К счастью, мои мысли приняли новый оборот.

ГЛАВА 5

Я подошла, наконец, к полкам с книгами современных писателей — точнее, писателей и писательниц, ибо женщины сегодня пишут почти наравне с мужчинами. А если они все-таки пишут меньше и мужчины по-прежнему многоречивы, то уж, во всяком случае, не ограничиваются лишь романами. Есть книги Джейн Хэррисон по греческой археологии, Верной Ли по эстетике, Гертруды Белл о Персии. Женщины пишут на различнейшие темы, которых еще предыдущее поколение не смело бы коснуться. А сегодня: и стихи, и пьесы, и критика, исторические, биографические книги, описания путешествий и исследования, есть даже несколько трудов по философии, естественным наукам, экономике. И хотя романы по-прежнему преобладают, но они, наверное, тоже изменились в содружестве с иными жанрами. Первая угловатость и эпический век женского творчества, наверное, прошли. Благодаря чтению и критике появилась большая широта и продуманность. Преодолена наконец тяга к биографиям. И женщина начинает разрабатывать литературу как искусство, а не только как метод самовыражения. Пожалуй, новые романы ответят на некоторые предположения.

Беру, не глядя, с конца полки: роман Мери Кармайкл «Наступление жизни» или что-то в этом роде, опубликованный в октябре. Ее первая книга, подумала я, но читать ее всякий будет как последнюю, продолжающую довольно длинный ряд отмеченных мною произведений — поэзию леди Уинчилси, пьесы Афры Бен, романы четырех великих романисток. Ибо книги продолжают друг друга, вопреки нашей привычке судить их порознь. И в ней — совершенно незнакомой женщине — я должна буду видеть преемницу других женщин, чьи судьбы я здесь мельком оглядела, чтоб разобраться в ее непростом наследстве. И, вздохнув — ибо романы чаще действуют как валерьянка, усыпляют вместо того, чтобы обжечь, как головней, — я принялась читать, с блокнотом и карандашом, первый роман Мери Кармайкл «Наступление жизни».

Прежде всего пробежала взглядом страницу. Сначала узнаю, как ложатся фразы, сказала себе, а затем уже углублюсь в голубые и карие очи Хлои и Роджера и варианты их взаимоотношений. Прежде надо выяснить — перо у нее в руке или мотыга. Пробую фразу, другую. Не в порядке что-то. Нет плавного перехода. Что-то рвется, царапает, отдельные слова бьют в глаза. Мери Кармайкл «забывается», как говорили в старых пьесах. Словно человек, чиркающий сломанной спичкой. Но чем тебе не угодили

фразы Джейн Остен? — спрашивала я ее, точно она сидела рядом. Неужели их надо комкать только потому, что Эммы и м-ра Вудхауза больше нет? Жаль, если так, вздохнула я. Ибо Джейн Остен идет от мелодии к мелодии, как Моцарт от пьесы к пьесе, а нынешнее чтение напоминает плавание в открытом море на простой лодке. То летишь вверх, то ухаешь в пропасть. Эти сжатость и короткое дыхание — уж не от страха ли прослыть сентиментальной? Или она вспомнила, что женский слог назвали цветистым, и заготовила избыток колючек? Но пока я внимательно не прочитаю сцену, я не смогу сказать, искренна она или притворяется. Во всяком случае, живое настроение читателя она не понижает, думала я, вчитываясь. А вот фактов нагромождает лишку. Ей и половины не использовать в таком объеме (роман был примерно вдвое короче «Джейн Эйр»). И все же ей как-то удалось усадить нас всех — Роджера, Хлою, Оливию, Тони и м-ра Бигема — в один челнок у истока. Минуту — откинулась я на стуле, — мне надо хорошенько все обдумать, прежде чем пуститься дальше.

Я почти уверена, что Мери Кармайкл нас разыгрывает. Чувствуешь себя как на русских горках, когда вагончик вместо ожидаемого нырка взмывает снова вверх. Мери играет предполагаемым ходом действия. Сначала скомкала фразу, теперь нарушила ход. Конечно, она имеет на это полное право, если ее цель — не разрушение, а создание нового. Точно не определю, пока она не выйдет на конфликт, на препятствие. И тут я даю ей полную свободу выбора, она может выстроить его хоть из консервных банок и старых чайников, но ей надо убедить меня, что это действительно препятствие. И когда она его подготовит, она должна взять его. И, дав себе слово быть ей верным читателем, если, конечно, и она не подведет, я перевернула страницу и прочла… Извините за резкий обрыв. Здесь нет мужчин? Вы уверены, что за той красной портьерой не прячется сэр Шартр Байрон собственной персоной? Только женщины? Тогда я скажу вам, что дальше я прочитала: «Хлое нравилась Оливия». Не спешите пугаться. Краснеть. Давайте признаемся в своем кругу, что случается и такое. Иногда женщинам нравятся женщины.

Итак, «Хлое нравилась Оливия». И тут до меня дошло, какое громадное изменение крылось за этими словами. Оливия понравилась Хлое, возможно, первый раз за всю литературу. Клеопатре, например, не нравилась Октавия. А как изменились бы «Антоний и Клеопатра», случись наоборот! А так, думала я, немного отвлекаясь от романа Мери Кармайкл, положение действующих лиц упрощается, осмелюсь сказать, до глупой

условности. У Клеопатры к Октавии единственное чувство — ревность. Она выше меня? Какая у нее прическа? Возможно, пьеса и не требовала большего. Но как все оживилось бы, будь их взаимоотношения сложнее. Все эти отношения между женщинами, я подумала, пробегая в памяти пышную галерею женских образов прошлого, слишком однообразны. Столько интересного осталось неосвещенным. И я попробовала вспомнить хотя бы случай из своей читательской практики, когда две женщины изображатись по ругами. У Мередита в «Диане с перепутья» есть попытка Расина и в греческой трагедии женщины часто наперсницы. Иногда матери и дочери. Но все они неизменно изображаются по отношению к мужчинам. Странно подумать, что все великие женские образы до Джейн Остен рисовались лишь в отношении к другому полу. А какая это малая часть жизни женщины и как мало может знать о ней мужчина, когда он ее видит через черные или розовые очки, которые надевает ему на нос его положение! Отсюда и своеобразие женского образа: эти озадачивающие крайности красоты и уродства, превращения из божественной добродетели в исчадие ада — ибо такой видел женщину влюбленный, в зависимости от того, росла его любовь или чахла, была взаимной или оставалась безответной. Разумеется, это не совсем так у романистов девятнадцатого века. У них женщина уже более сложна и интересна. Возможно, из стремления писать о женщинах мужчины постепенно отошли от поэтической драмы с ее резкостью и теснотой и придумали роман как более подходящее выразительное средство. Но и в романе, даже у Пруста, остается очевидным, что мужчина очень узко и однобоко смотрит на женщину, как, впрочем, и она на него.

И кроме того, продолжала я, снова заглядывая в книгу, интересы женщин не ограничиваются только домом: сегодня это уже очевидный факт. «Хлое нравилась Оливия. Они работали в одной лаборатории…» Хотя одна из них была замужем и с двумя маленькими детьми. И дальше я узнаю, что героини занимались препарированием печени, говорят, это помогает при злокачественной анемии. Мужчины, конечно, все эти подробности опускали, и пышный образ выдуманной женщины упротгался и скучнел на глазах. Представьте, если бы мужчин изображали только возлюбленными и никогда — друзьями, солдатами, мыслителями, мечтателями; им почти нечего было бы играть в пьесах Шекспира, какая потеря для литературы! Да, у нас осталась бы большая часть Отелло, добрая половина Антония, но ни Брута, ни Цезаря, Гамлета, Лира, Яго — литература невероятно обнищала бы, как, впрочем, она и так веками

нищенствовала из-за того, что перед женщинами вечно закрывали двери. Мог ли драматург полно и интересно, правдиво их описать, если их еще девочками выдавали замуж и запирали в четырех стенах, усадив за пяльцы? Любовь была единственным мостиком. Поэт поневоле становился влюбленным, либо насмешником, или на худой конец объявлял себя женоненавистником, что чаще всего означало, что он не пользуется у женщин успехом.

Если же Хлое нравится Оливия, они вместе работают и их дружба складывается интереснее и крепче былых женских ревностей и если Мери Кармайкл, которая начинает мне уже нравиться, сумеет это описать и докажет свою самостоятельность — но это мы еще посмотрим! — тогда я скажу: действительно произошло нечто очень существенное.

Это значит, что Мери Кармайкл первая зажгла факел в просторной палате, где до нее еще никто не бродил. Там все полусвет и глубокие тени, как в лабиринте, когда идут со свечой и смотрят сразу вверх и под ноги, боясь оступиться. И я продолжала читать дальше: Хлоя следит, как Оливия ставит кувшин на полку, и говорит, что ей пора домой, к детям. Картина, невиданная со дня творения! — воскликнула я. И стала тоже с любопытством наблюдать. Мне хотелось посмотреть, как Мери Кармайкл начнет угадывать эти неведомые жесты, эти невымолвленные или полувымолвленные слова, что возникают не более осязаемо, чем тени мотыльков на потолке, когда женщины остаются одни и на них не падает окрашенный и капризный свет другого пола. Ей придется затаить дыхание, подумала я, читая дальше: ведь женщины так подозрительны к любому нечаянному интересу, так ужасающе привыкли к молчанию и подавлению, что стоит только повести бровью в их сторону, как они тут же прячутся. Единственный способ, сказала я ей, точно она сидела рядом, — отвернуться к окну и говорить о другом, а самой тем временем записывать, да не карандашом в записной книжке, а надежнейшим стенографом, словами, еще не выговоренными, о том, что происходит, когда женщина — этот организм, миллионы лет чахнувший в тени скалы, — чувствует прояснение и видит совсем новую пищу: знание, дорогу, искусство. И она уже тянется к ней, подумала я, снова отрывая глаза от книги, и ей придется заново комбинировать свои возможности, столь сильно развитые для другого дела. Чтоб новое вошло в старое, не нарушая сложное и искуснейше выработанное целое.

Но, увы, я нарушила обещание: незаметно для себя начала расхваливать свой пол. «Сильно развитые возможности», «сложное и искуснейше выработанное целое» — разумеется, это

хвалебные слова, а похвала в свой адрес всегда выглядит подозрительно, часто просто смешна, ибо чем ее в данном случае оправдаешь? Никто из нас не может подойти к карте и указать — Америку открыл Колумб, а Колумб, как известно, был женщиной; или взять яблоко и заметить, что закон притяжения нашел Ньютон, а Ньютон, между прочим, был женщиной; или поднять голову и сказать: аэропланы летают, а кто их изобрел? — женщины. Не определяется высота женщины по дверному косяку. Не измерить ростомерами с аккуратными делениями в доли дюйма доброту матери, или преданность дочери, или верность сестры, или талант хозяйки. Очень немногие женщины даже сегодня удостоены ученой степени; великие испытания многих профессий в армии, флоте, торговле, политике, дипломатии едва изведаны ими. Женщины и сейчас почти не оценены. Но если я захочу узнать все подробности о сэре Холи Батсе, например, стоит мне только открыть справочник, и я найду, что у него такие-то степени, что он владелец поместья, имеет наследника, занимал в такие-то годы пост Секретаря, был послом Великобритании в Канаде и в общей сложности получил столько-то званий, орденов, постов и разных других знаков отличия, несмываемым блеском покрывших его персону. Разве что Провидению больше известно о сэре Холи Батсе.

Итак, мне не подтвердить своих хвалебных слов в адрес женщин никакими энциклопедиями и справочниками. Как же выйти из затруднения? И я снова взглянула на книжные полки. Там стояли биографии Джонсона, Гёте, Карлайла, Стерна, Шелли, Каупера, Вольтера, Браунинга и многих, многих других. И я задумалась обо всех этих великих людях, которые по той или иной причине восхищались женщинами, искали дружбы с ними, вместе жили, делились секретами, любили, посвящали им стихотворения, верили в них, нуждались — в общем, по-своему зависели от них. Не скажу, что все это были чисто платонические увлечения, а сэр Уильям Джонсон Хикс — тот, наверное, прямо сказал бы, что ничего платонического в них не было. Но мы погрешили бы против правды, если бы стали настаивать, что великие люди искали в этих связях лишь лести, комфорта и плотских утешений. Всякому ясно, они искали в них то, чего не мог им дать их собственный пол, и я, пожалуй, попытаюсь определить это точнее, без возвышенных поэтических цитат — как некий стимул, обновление творческой силы, одаривать которыми дано лишь другому полу. Какой-нибудь Джонсон открывал дверь детской или гостиной, подумала я, а там сидела она, может, окруженная детьми или с рукоделием на коленях, всегда в центре совсем иной системы ценностей, иного

жизненного порядка, и контраст между его и ее миром — а его миром был зал суда или палата общин — моментально освежал и взбадривал; а дальше следовала, даже за самым пустяковым разговором, такая естественная разница взглядов, что ссохшийся его ум оказывался опять взрыхленным; и образ ее, создающей что-то свое своими средствами, так возбуждающе действовал на творческую силу, что, само собой, его стерильный ум принимался опять выдумывать, творить и приходила наконец та фраза или эпизод, который никак ему не давался, когда он надевал шляпу перед встречей с нею. У каждого Джонсона есть своя Трэйл, и ему страшно потерять ее из-за чего-то такого, и, когда его Трэйл выходит замуж за итальянца, учителя музыки, у Джонсона от бешенства темнеет в глазах, и не потому, что ему жаль милых вечеров на Стретхэме, а потому, что из его жизни точно «ушел свет».

Да и вовсе не обязательно быть Джонсоном, Гёте, Карлайлом или Вольтером, чтобы почувствовать — пусть не так, как они, по-своему — всю сложность и силу творческой способности у женщин. Нам надо войти в свою комнату… только прежде, чем мы войдем и расскажем, что происходит, когда женщина оказывается в своей стихии, английской речи придется сначала сильно порастянуться и пробить потолок пролетами новых понятий. Комнаты такие разные: спокойные, грозные, с окнами на море или в тюремный двор, завешанные бельевыми веревками, в шелку и опалах, жесткие, как конский волос, или мягкие, словно пух, — достаточно переступить порог любой комнаты на любой улице, и в лицо ударит вся многосложная сила женского. Как же иначе? Миллионы лет женщины просидели взаперти, так что сегодня самые стены насыщены их творческой силой, которая уже настолько превысила поглощающую способность кирпича и извести, что требует выхода к кистям и перьям, делу, политике. Но это совсем иная творческая сила, чем у мужчин. И мы должны понять всю невосполнимость потери, если будем сдерживать ее или растрачивать впустую, — она завоевана веками наистрожайшей самодисциплины, и заменить ее нечем. Ужасно жаль, если женщины начнут писать или жить или будут выглядеть как мужчины, — два пола с их различиями совсем не много на огромный и разнообразный мир, а как же мы станем обходиться одним? Не призвано ли воспитание более выявлять и поддерживать различия, нежели сходство? У нас уже много сходного, и, если бы вернулся кто-то из путешествия и рассказал о существовании иных полов, что смотрят из-за ветвей иных деревьев на иные небеса, — какая польза была бы человечеству! И сколько удовольствия доставил бы нам профессор Х, который тут

же рванулся бы озабоченно к линейкам доказывать свой «приоритет».

Похоже, Мери Кармайкл уготована роль простого наблюдателя, подумала я, мыслями еще витая над страницей. Боюсь, она поддастся искушению стать тем, что я считаю менее интересной разновидностью писателя, — романистом-натуралистом, а не мыслителем. Вокруг так много новых объектов для изучения. Ей уже не придется ограничиваться благопристойными домами среднего класса. Она войдет по-дружески — без одолжения и снисходительности — в душные комнаты, где сидят куртизанка, гулящая и дама с мопсом. Сидят в уродливых, заранее готовых платьях, напяленных на них мужчиной-писателем. Но Мери Кармайкл достанет ножницы и точно вырежет каждую впадинку и выступ. Любопытно будет увидеть, какие на самом деле женщины, — правда, сначала Мери надо справиться со своим смущением, этим наследством нашего сексуального варварства. Она и теперь еще опутана искусственными оковами сословности.

Впрочем, большинство женщин не куртизанки и не гулящие и вряд ли просиживают летние дни напролет, прижимая мопсов к пыльному бархату платьев. Чем же они тогда заняты? И моему мысленному взору предстала одна из длинных улиц к югу от реки с бесконечными перенаселенными кварталами. Силой воображения я различила древнюю старушку, которая переходит через улицу, опираясь на руку пожилой женщины, похоже дочери: обе так благопристойнейше укутаны в мех и зашнурованы в ботинки — я так и вижу их ежедневный обряд выхода на улицу и как потом они убирают платья в шкафы с нафталином — год за годом, из лета в лето. Они переходят через улицу, когда зажигают фонари (их час — сумерки), день за днем, год за годом. Старшей около восьмидесяти, но, если спросить ее о жизни, она вспомнит уличный фейерверк в честь победы при Балаклаве или пушечную пальбу в Гайд-парке по случаю рождения короля Эдуарда Седьмого. А начнешь расспрашивать, желая пригвоздить мгновение с календарной точностью, — 5 апреля 1868 года что вы делали? а 2 ноября 1875-го? — она посмотрит рассеянно и скажет, что ничего ей не припоминается. Еще бы, обедов готовить больше не надо, посуда вымыта, дети давно окончили школы и разбрелись по свету. Все куда-то ушло. Ничего не осталось. Ни одна биография или история не добавит к ее рассказу и слова. И так, вопреки себе, романы оказываются ложью.

Эта беспросветная жизнь ждет своего исследователя, обратилась я к Мери Кармайкл, точно она стояла рядом; и пошла мысленно по лондонским улицам, чувствуя тяжесть немоты и

непроглядный сумрак жизни — от женщин ли с кольцами на опухших толстых суставах, что стояли на углу подбоченясь, жестикулируя в ритме Шекспира, от продавщиц ли спичек и цветочниц, от старых кляч, изваянных в дверном проеме, от девушек ли на улицах, чьи лица, как солнечная или затуманенная гладь, ловили приближение мужчины или женщины, мерцание огней витрин. Все это ты должна будешь исследовать, твердой рукой держа факел, говорила я мысленно Мери Кармайкл. Главное же, ты должна высветить свою душу с ее глубинами и мелководьем, тайниками тщеславия и великодушия. Сказать, что для тебя значит твоя красота или уродливая внешность и как ты относишься к вечному круговороту вещей, туфель, перчаток, лаков — этому миру приторных запахов, что, просачиваясь из флаконов с химией, стекают по аркадам занавесей на псевдомраморный пол. Оказывается, замечтавшись, я попала в магазин, он был вымощен белыми и черными плитами, изумительно украшен цветными лентами. Мери Кармайкл вполне могла заглянуть сюда дорогой, подумала я, и здешний пейзаж под ее пером засверкал бы с неменьшим блеском, чем какой-нибудь заснеженный пик или скалистое ущелье в Андах. А вот и девушка за прилавком — я куда охотнее выслушаю ее человеческий рассказ, чем стопятидеся-тое жизнеописание Наполеона или семидесятый анализ Китса об использовании им мильтоновской инверсии в сочинительствах старого профессора Х и компании. И уже шепотом, очень осторожно, чуть слышно (а все из-за моего малодушия, боязни окрика за спиной) я продолжала говорить Мери Кармайкл: еще тебе нужно научиться смеяться по-доброму над суетностью другого пола — или, лучше сказать, над их странностями, это звучит не так оскорбительно. Ибо у каждого на затылке есть пятно не больше шиллинга, которого самому не рассмотреть. Хороший случай, когда один пол полезен другому, — описать это темное пятно на затылке. Вспомните, какую огромную пользу извлекли женщины из замечаний Ювенала, критики Стриндберга. Подумайте, с какой человечностью и юмором мужчины испокон веков указывали женщинам на это темное пятно в их родословной. И будь Мери Кармайкл очень смелой и честной, она б не побоялась — зашла бы за спину другого пола и рассказала о том, что она там увидела. Жизненно правдивый мужской портрет лишь тогда сложится полностью, когда женщина опишет это шиллинговое пятно. М-р Вудхауз и м-р Кезебон — как раз пятнышки такого рода. Разумеется, ни один здравый человек не посоветует ей смеяться со злым умыслом — литература показывает тщетность таких попыток. Пиши правду, хочется ей сказать, и результат может выйти самый

неожиданный. Обогатится комедия, откроются новые факты.

Впрочем, мне давно пора вернуться к странице романа. Чем думать о том, что могла и должна писать Мери Кармайкл, лучше посмотреть, о чем она пишет. И я снова взялась за книгу. Ага, вспомнила я свою досаду, она скомкала фразу Джейн Остен, не дав мне случая продемонстрировать мой безупречный вкус и тонкость критика. Что толку говорить «неплохо, очень неплохо, но, согласитесь, у Джейн Остен получалось гораздо лучше», если я и сама вижу: между ними нет точек пересечения. Затем она еще спутала ход — предполагаемый порядок действия. Возможно, у нее это вышло бессознательно, по-женски, чтобы внести живую струю. Но неожиданный результат: не угадываешь назревающую волну, перелом за очередным поворотом. И мне уже не покичиться тонкостью своих чувств, глубоким знанием человеческой натуры. Только я настроюсь, кажется, на верные представления о любви, о смерти, как неуемное существо дергает меня, увлекая дальше, словно самое важное не в этом. С ней невозможно произнести внушительно фразы о «запредельных чувствах», об «исконно человеческом», «тайнах души» и все другие, поддерживающие в нас уверенность, что, какие мы ни искусственные снаружи, внутри мы сама серьезность, глубина и человечность. Напротив, она дала мне ощутить вместо серьезности, глубины и человечности в каждом из нас — мысль малособлазнительная — возможную леность души и ограниченность в придачу.

Но продолжаю читать и отмечаю другие факты. Она не «гений» — это очевидно. Ни любви к Природе, ни пламенной фантазии или необузданности стиха у нее нет; она не блещет остроумием и философской глубиной мысли своих великих предшественниц — леди Уинчилси, Шарлотты Бронте, Эмили Бронте, Джейн Остен, Джордж Элиот. Нет в ней и мелодичности и достоинства Дороти Осборн — словом, просто талантливая девушка, чьи книги через десять лет будут выжаты издателями. И все-таки у нее есть то, что еще полвека назад и не снилось великим писательницам. Для нее мужчины уже не «противники», и ей не надо тратить время на препирательства с ними; не надо лезть на чердак и выходить из равновесия при мысли о недоступных путешествиях, опыте, всем кипучем и разнообразном мире. В ней уже почти не осталось страха и ненависти — только следы их видны в слегка подчеркнутом упоении своей независимостью, в склонности к насмешливому и сатирическому изображению другого пола, вместо прежнего, романтического. И еще она, без сомнения, обладает очень важными для романиста природными задатками. У нее очень щедрая, широкая и свободно

чувствующая натура. Она отзывается на малейший толчок извне. Как народившийся цветок — празднует каждый новый цвет и звук. Исследует осторожно и пытливо явления неизвестные, но традиционно отвергнутые как незначительные и показывает, что, возможно, это и не мелочи вовсе. Выносит на свет давно забытое, вызывая удивление — зачем надо было хоронить? Пусть у нее нет того внутреннего наследства, которое облагозвучивает малейший штрих Теккереев или Лэмов, но она усвоила первый большой урок: она пишет, как женщина, забывшая о своей принад: лежности к женскому полу, и от этого ее страницы обретают тот особый тон, удающийся, лишь когда человек держится естественно.

Все это было в ее пользу. Но никакая гибкость чувства или отточенность восприятия не спасут, если она не выстроит из личных и мимолетных наблюдений прочной, неразрушаемой постройки. Я говорила: подожду, пока она не выйдет на конфликт, на препятствие. То есть пока не докажет — сведя воедино все намеки и подробности, — что не по поверхности скользит, а и вглубь заглядывает. Теперь пора, скажет себе в известную минуту, теперь я могу наконец, не совершая ничего сверхъестественного, показать, что все это значит. И начнет — как понятно это крещендо! — собирать и увязывать, и вот уже в памяти встают, казалось бы, полузабытые, случайно оброненные мелочи из разных глав. И обнаружит она их как можно более естественно, за каким-нибудь обычным занятием героев — она шьет, он курит трубку, — и возникает чувство, чем дальше читаешь, словно ты достиг вершины мира и он открылся тебе во всей красоте и величии…

Во всяком случае, она пыталась. И, наблюдая, как она вытягивается в прыжке, я знала, но не подавала виду, что к ней со всех сторон лезут деканы и епископы, профессора и доктора, педагоги и законодатели с предупреждениями и советами. Этого не сможешь, этого не должна! По траве разрешается ходить только Членам Университета! Дамам вход только по рекомендациям! Особо увлекающихся романисток с изящным слогом просим сюда! Они дразнили ее, точно псы за барьером ипподрома, а для нее было делом чести взять барьер, не взглянув ни вправо, ни влево. Смотри, мысленно говорила я ей, остановишься послать их к черту или высмеять, и ты пропала. Минутное колебание или растерянность, и ты погибнешь. Думай только о прыжке, я ее умоляла, словно все свои деньги на нее поставила, и она взмыла над барьером как птица. А впереди еще барьер, и еще. Достанет ли у нее выносливости? Стоял оглушительный лай и треск, казалось, лопаются нервы. Но она

держалась молодцом. Учитывая, что Мери Кармайкл не гений, а неизвестная девушка, которая в однокомнатной квартирке, без денег, урывками пишет свой первый роман, у нее вышло, думала я, не так плохо.

Дайте ей сотню лет, заключила я, дочитывая последнюю главу, где людские носы и голые плечи предстали в их наготе на фоне звездного неба, ибо кто-то отдернул занавес в гостиной, — повторяю, дайте ей сотню лет, свою комнату и пятьсот фунтов в год, возможность думать открыто и избавиться от лишних слов, и, уверяю вас, она напишет очень скоро лучшую книгу. Она будет поэтом, сказала я, ставя роман Мери Кармайкл на самый конец полки, будет — через сотню лет.

ГЛАВА 6

Наутро в незанавешенные окна падал пыльными колонками октябрьский свет и с улицы доносился гул машин. Лондон опять завелся, фабрика ожила, станки пошли. Заманчиво после всего прочитанного выглянуть в окно и узнать, что делал Лондон утром 26 октября 1928 года. И что же? «Антония и Клеопатру» никто, похоже, не читал. Лондон, казалось, был совершенно равнодушен к шекспировским пьесам. Никого не заботили — и я не осуждаю — будущее литературы, исчезновение поэзии или развитие прозы средней женщиной в направлении полного выражения ее мысли. Кажется, напиши об этих проблемах на тротуаре — взглядом не удостоили бы. В полчаса затерли бы спешащие безразличные подошвы. Пробежал посыльный, прошла женщина с псом на поводке. На лондонской улице не встретишь двух одинаковых лиц, тем она и завораживает: такое впечатление, будто каждый идет по своему, сугубо частному делу. Деловые с папочками, праздные, барабанившие тростью по ограде, любезные, обо всем осведомленные личности, окликавшие людей в повозках, точно приятелей по клубу. Шли также и похоронные процессии, перед которыми мужчины снимали шляпы, вдруг осознав скорый уход своих бренных тел. И наконец, со ступеней сошел важный господин и остановился, избегая столкновения с суматошной дамой — в шубе и с букетиком пармских фиалок. В то утро, казалось, все были разобщены, заняты собой, своими делами.

И вдруг, как часто бывает в Лондоне, улица стихла и замерла. Ни машины, ни души. Только в дальнем конце от платана оторвался лист и, покружившись в воздухе, упал. Точно символ, знак незамечаемой связи явлений. Той реки, что течет, невидимая, рядом, через людской водоворот, выхватывая и затягивая людей, как в Оксбридже поток унес студента и мертвые листы. Сейчас, увлекаемая этим потоком, через улицу летела девушка в лаковых туфельках и следом за ней молодой человек в темном пальто. Навстречу им плыло такси. И вот в какое-то мгновение все трое сошлись в одной точке под моим окном: машина остановилась, остановились и девушка с молодым человеком, сели в такси, и оно умчалось, словно подхваченное потоком.

Обычная картина, но почему в моем воображении она предстала с ритмической четкостью? Почему привычные двое в кэбе заражают своей радостью другого? Очевидно, встреча двух молодых людей на углу освободила сознание от напряжения, подумала я, глядя вслед отъезжающему такси. Все-таки это

усилие — мысленно отделять два дня подряд один пол от другого. Нарушается целостность сознания. И только сейчас, когда я увидела, как двое на углу встретились и сели в такси, я ощутила, что напряжение спало и мысль ожила. Загадочная штука — человеческий ум, подумала я, убирая голову из окна, ничего о нем не известно, хотя мы всецело от него зависим. Почему, например, я так же остро чувствую внутренние разрывы и разногласия, как и вполне объяснимые физические нагрузки? Что вообще такое «целостность сознания»? — раздумывала я. Ибо мысль, при ее необыкновенной способности сосредоточиваться на чем угодно, очевидно, не имеет единого состояния. Она, например, может отделиться от людей на улице и вообразить себя независимой, как человек на балконе, глядящий на все сверху. Или, наоборот, может слиться стихийно с мыслями других людей, как бывает в толпе, застывшей в ожидании известия. Она может обращаться к своим отцам или матерям — так женщина-писатель, я говорила, мысленно отталкивается в своем творчестве от матерей. Сознание женщины неожиданно раздваивается, скажем, во время прогулки по Уайтхоллу, когда из естественной преемницы цивилизации женщина становится ей посторонней, отчужденной и несогласной. Действительно, сознание постоянно меняет фокус и показывает мир с разных точек зрения. Правда, некоторые из этих состояний менее естественны, чем другие. В них приходится себя удерживать, пока не становится невмоготу. Но есть такие психологические состояния, в которых пребываешь без всяких усилий, легко и непринужденно. И вот это, подумала я, отходя от окна, одно из них. При виде пары, севшей в кэб, я вновь ощутила свою мысль естественным целым, как будто прежде она была разъята на две половинки. Что объясняется очень просто — полам свойственно сотрудничать. В каждом сидит глубокое, пусть интуитивное знание, что союз мужчины и женщины приносит самое полное удовлетворение и счастье. И еще одна догадка мелькнула у меня при виде пары, остановившей кэб: а может, в человеческом сознании тоже есть два пола и им тоже необходимо соединиться для полного удовлетворения и счастья? И я схематично представила себе, как в человеческой душе уживаются два начала, мужское и женское; в мужском сознании тон задает мужчина, а в женском женщина. Нормальное, спокойное состояние приходит, лишь когда эти двое живут в гармонии, духовно сотрудничая. Пусть ты мужчина, все равно женская половина твоего сознания должна иметь голос; так и женщина должна прислушиваться к своему напарнику. Не это ли имел в виду Колридж, когда говорил, что великий ум — всегда андрогин? Только при полном слиянии мужской и женской

половин сознание зацветает и раскрывается во всех своих способностях. Видимо, чисто мужское сознание не способно к творческой деятельности, как, впрочем, и чисто женское, подумала я. Но не мешало бы остановиться и уточнить понятия му-жественно-женского и, наоборот, женственно-мужественного типов сознания на одной или двух книгах.

Разумеется, когда Колридж говорил, что великий ум — всегда андрогин, он и не думал подчеркивать различия между полами: их неравноправие или неверное толкование в литературе. Такому сознанию вообще несвойственно мыслить различиями. Андрогинный ум — тот, что на все отзывается, все впитывает, свободно выражает свои чувства; ум насквозь творческий, пламенный и неделимый. Собственно, таким был шекспировский ум — андрогинным, мужественно-женственным по складу, хотя трудно сказать, что именно думал Шекспир о женщинах. И если действительно свобода от вражды полов — один из признаков зрелого сознания, то выходит, мы сейчас как никогда далеки от состояния зрелости. Я как раз подошла к книгам современных писателей и остановилась в раздумье — не это ли обстоятельство лежит в корне удивляющих меня явлений? Нет века более ожесточенно себялюбивого, более яростно сосредоточенного на своем мужском или женском достоинстве, чем наш; бесчисленные опусы мужчин о женщинах в Британском музее — доказательство. Виновницей этому, безусловно, суфражистская кампания. Она разожгла в мужчинах страсть к самоутверждению, вынудив их подчеркивать в пику женщинам свои достоинства. Сами они бы никогда этого не сделали. Но когда тебя подвергли сомнению, пусть несколько злых чепчиков, следует отплатить с лихвой, даже если раньше и не трогали. Возможно, это объясняет кое-какие странности в новом романе м-ра А — я достала его с полки. Сейчас он в расцвете лет и, похоже, на очень хорошем счету у рецензентов. Открываю. Все-таки удовольствие после женщин читать мужской слог. Прямой, открытый, без лишних слов. А какая свобода, широта, уверенность в себе! Физически приятно находиться в обществе столь ухоженного, вышколенного ума, который с пеленок имел полную свободу выбора, ни разу не был сбит со своего пути. Все было чудесно. Но через одну или две главы на страницы легла темным препятствием тень, напоминающая чем-то букву Я. Ее пытаешься обойти, чтобы хоть мельком схватить задний план. Что там — дерево, или женщина идет? Не разберу. Сзади постоянно окрикивала буква Я. Она начинала меня уже раздражать. Нет, это в высшей степени достойное Я, честное и логичное, крепкое, как дуб, отполированное веками хорошей школы и добротной пищи. Я

уважаю его и восхищаюсь им от всего сердца. Но — я недоуменно пере-листнула страницу или две… нехорошо, что в тени этого замечательного Я все остальное расплывается туманом. Это дерево? Нет, это, оказывается, женщина. Но… она же безжизненна, подумала я, наблюдая, как Фиби — так звали героиню — выходит на пляж. Тут Ален встает и своей тенью стирает Фиби. Еще бы: у него на все собственный взгляд, и Фиби захлебывается в потоке его речей. И потом, по-моему, Алену не чужды страсти; чувствуя близость развязки, я залистала книгу быстрее и не обманулась. Это случилось на пляже, под солнцем. И было сделано очень свободно. Очень по-мужски. Непристойнее не бывает. Но… сколько можно говорить «но»? На них не уедешь. Доведи свою мысль до конца, упрекала я себя. «Но — мне скучно!» Но отчего? Слишком уж сильно давит буква Я — она, как баобаб, сушит все живое вокруг. Тут ничего не растет. И потом, по-моему, есть еще одна причина. Похоже, у м-ра А имеется внутренний барьер, затор, который сковывает его творческую энергию, не дает ей выхода. И, вспомнив разом званый завтрак в Оксбридже, сигаретный пепел, бесхвостую кошку, Теннисона и Кристину Россетти, я поняла, кажется, в чем у него затор. Раз он больше не напевает про себя: «С гелиотропа у ограды…», когда Фиби идет по пляжу, и она не отвечает: «Мое сердце ликует как птица…», когда Ален подходит, что ему остается делать? Честному, как сегодняшний день, и логичному, как пляжное солнце, ему остается лишь одно. И он это делает, надо отдать ему должное, еще и еще (я перелистала книгу), и еще раз. А это, учитывая ужасающую суть такого кредо, довольно тупо. Шекспировская непристойность рвет с корнем тысячу сорняков в читательском сознании, и в ней нет ничего скучного. Потому что Шекспир делает это ради удовольствия, а м-р А, как сказала бы няня, нарочно, назло. Он выступает против другого пола, утверждая собственное превосходство. Оттого-то и скован, зажат и неловок, чего не избежал бы и Шекспир, будь он знаком с мисс Клау и мисс Дейвис. Елизаветинская литература, конечно, выглядела бы совершенно иначе, если бы борьба женщин за равноправие началась тремя столетиями раньше.

Выходит, что мужская половина сегодня скована — если следовать теории о двух сторонах сознания. Мужчины пишут только одной гранью своего ума. Женщине читать их бесполезно, это все равно что блуждать в пустоте. Я взяла критику м-ра В и попыталась очень внимательно и добросовестно вчитаться в его замечания об искусстве поэзии. И что же? Высокоученейшие, умные, проницательные суждения — одно плохо: автор не наводит на размышления, его чувства не передаются, точно его

сознание разбито на камеры, разделенные глухой стеной. И поэтому, когда начинаешь размышлять над его высказыванием, оно лопается как мыльный пузырь, а возьмешь суждение Колриджа — оно взрывается и рождает всевозможные мысли, и это единственный род литературы, про который можно сказать — она обладает секретом бессмертия.

Как бы то ни было, это грустный факт. Он означает, что первоклассные произведения наших великих современников — я как раз подошла к шеренгам книг м-ра Голсуорси и м-ра Киплинга — наталкиваются на непонимание. Женщине при всем желании не найти в них того фонтана вечной жизни, о котором ей твердят критики. И не только из-за того, что в них прославляются мужские добродетели, навязываются чужие оценки и расписывается мир мужчин. Просто их книги по своему духу чужды женщине. Задолго до конца романа начинаешь говорить себе — сейчас, сейчас это произойдет, обрушится на голову. Эта карти-на-таки свалится на старика Джолиона, он не переживет удара, старый слуга помянет его добрым словом, и разольется над Темзой прощальная лебединая песнь. Но ты ее уже не услышишь — сбежишь, усевшись где-нибудь под кустом крыжовника, ибо чувство, столь глубокое и символичное для мужчины, женщину — оглушает. Как и Гордые Офицеры Киплинга, и его Сеятели, сеющие Ростки Нового, и его Серьезные Деловые Мужчины, и его Имперский Флаг — от всех этих заглавных букв становится неловко, точно случайно подслушал разговор расхваставшихся мужчин. Дело в том, что ни в м-ре Голсуорси, ни в м-ре Киплинге нет и капли женского. Потому все их свойства и кажутся Женщине грубыми и незрелыми. Не в их власти будить читательскую мысль. Такие книги могут поражать, но до мысли и сердца им не достучаться.

И уже в беспокойстве и неудовлетворенности — как бывает, когда берешь с полки книги и ставишь обратно, не раскрыв, — я попробовала смотреть в лицо недалекой эпохе чисто мужского, агрессивного сознания, что маячит в письмах профессоров (сэра Уолтера Рейли, например) и уже воплощена правителями Италии. Ибо в Риме трудно не поразиться этой жесткой мужественности; но, какую бы ценность ни представляла она для государства, на искусство поэзии ее влияние сомнительно. Во всяком случае, судя по газетам, в Италии озабочены состоянием литературы. Уже прошло заседание академиков, призванное ни больше ни меньше как «развивать итальянский роман». На днях этот вопрос обсуждался «представителями знати, финансовых, промышленных и партийных кругов», и была послана телеграмма дуче, выражавшая твердую надежду, что «фашистская эра скоро

породит достойную ее поэзию». Мы все, конечно, можем присоединиться к упованиям, только вряд ли поэзию вырастишь в инкубаторе. Поэзии нужны родители — и мать не меньше, чем отец. Боюсь, как бы «достойное» детище фашизма не оказалось ошибкой природы, какие случается видеть в склянках в провинциальном музее. Долго они, известно, не живут — во всяком случае, еще никто не видел, чтобы это чудо природы резвилось на зеленом лугу. Две головы — еще не залог бессмертия.

Виноваты же в создавшемся равно и тот и другой пол. Все, кто пускался в обольщения и реформы: и леди Бесборо, солгавшая лорду Гренвиллу, и мисс Дейвис, выпалившая правду м-ру Грегу. Виноваты все, кто разжигал самолюбие и раздувал достоинства своего пола. И именно они толкают меня, когда хочется поразмять мысли, к той счастливой поре до мисс Клау и мисс Дейвис, когда художник одинаково свободно владел обеими сторонами своего сознания. И опять приходишь к Шекспиру, андрогину по духу, какими были и Китс, и Стерн, и Каупер, и Лэм, и Колридж. Шелли, пожалуй, был бесполым. Мильтон и Бен Джонсон слишком мужчины. Как и Вордсворт, и Толстой. В наше время можно считать андрогином Пруста, если б не излишек женского. Но это слишком редкий недостаток, так что грех жаловаться. Обычно, если мужское и женское начала не уравновешены в сознании, верх берет интеллект в ущерб другим внутренним потенциям. Впрочем, утешала я себя, и это преходяще. Многое из того, что я здесь сказала, делясь своими мыслями, покажется завтра устарелым; многому из того, что очевидно для меня, вряд ли поверят сегодняшние несовершеннолетние.

И все равно первым предложением, подумала я, подходя к столу и берясь за листок «Женщины и литература», я бы поставила следующее: губительно человеку пишущему думать односторонне. Нельзя быть просто женщиной или просто мужчиной по складу мысли: нужно быть женственно-мужественным или же мужественно-женственным. Губительно женщине писать с обидой, затевать любую, даже справедливую, защиту, о чем бы то ни было говорить, сознавая свою принадлежность к женскому полу. И это не пустые слова. Все, написанное с внутренней несвободой, обречено на смерть. Оно бесплодно. Блестящее и действенное, мощное и совершенное, как может казаться день или два, оно завянет — придет ночь, не прорастая в людских умах. Какой-то союз мужчины и женщины должен сложиться в сознании, прежде чем произведение будет закончено. Противоположностям нужно пожениться. Сознание

должно быть ненарушае-мой гладью, чтобы чувствовалось: художник сообщает целиком свой опыт. Здесь должны быть свобода и мир. Ни шороха колес, ни огонька. Шторы плотно задернуты. Едва же все отдано, подумала я, писателю нужно отойти, и пусть мысль празднует свою свадьбу втайне от всех. Не надо вновь заглядывать или сомневаться в сделанном. Лучше обрывать розовые лепестки или смотреть на лебедей, спокойно плывущих по реке. И я снова увидела поток, унесший лодку со студентом и мертвые листы; такси подхватило мужчину с женщиной, и поток унес их — подумала я, слыша рев лондонского движения, — в эту грохочущую лавину.

И здесь Мери Бетон умолкает. Она рассказала вам, как пришла к той прозаической мысли, что каждый, кто думает писать, должен иметь пятьсот фунтов в год и комнату на замке. Она попыталась обнажить перед вами мысли и наблюдения, заставившие ее так думать. Приглашала вас броситься с ней в руки педеля, позавтракать, поужинать, рисовать картинки в Британском музее, брать с полки книги, смотреть в окно. Все это время, держу пари, вы отмечали ее слабости, родинки и думали, как они отразились на ее суждениях. Возражали ей, вносили дополнения и делали важные для себя выводы. Так и должно быть, в сложных вопросах правду не найти иначе, как сложением разнообразных ошибок. Закончу я уже от своего имени, предвидя две критики в свой адрес.

Мы так и не услышали, скажете вы, какой пол одареннее — хотя бы в литературном отношении. Я об этом нарочно не заговаривала, так как считаю, что сейчас гораздо важнее знать, сколько у женщин средств и комнат, чем теоретизировать об их талантливости. Но даже если я ошибаюсь и настало время обсудить этот вопрос, я не верю, что человеческую одаренность можно взвешивать, как масло или сахар. Даже в Кембридже, где столь умело классифицируют людей, надевают им на головы шапочки и метят имена буквами. Я не верю, что даже Табель о Рангах Уитеккеровского альманаха представляет конечную систему ценностей, и есть разумная причина, почему все же Капитан ордена Бани должен идти к обеду за приставом комиссии по умалишенным. Все эти противопоставления полов, достоинств, претензии на превосходство и приписывания неполноценности — из школьного этапа жизни, где всегда есть «две стороны» и одной нужно побить другую, и высший смысл заключается в том, чтобы подойти к высокой трибуне и получить из рук самого Директора необыкновенно раскрашенный горшок. С возрастом люди перестают верить в директоров и раскрашенные горшки. Во всяком случае, к книгам прочные ярлыки клеить

невероятно трудно. Не вечный ли пример тому обзоры текущей литературы? «Великая книга», «пустая книжонка» — говорится об одной и той же вещи. Что могут значить после этого чья-то похвала или хула? Нет, как ни увлекательно строить оценки, это бесполезнейшее из занятий, а подчиняться оценкам или указам — наиболее рабская из всех позиций. До тех пор пока вы пишете, как думаете, только ваши мысли и чувства и имеют значение, а на века ли пишете или на несколько часов, этого никто не знает. Но поступиться хотя бы волоском с головы своего образа, тенью его есть самое низкое предательство, рядом с которым обычные страшные людские жертвы собственностью или добродетелью покажутся просто темным пятнышком.

Затем вы можете возразить, что я слишком преувеличила значение материальных условий. Даже со скидкой на символы — что пятьсот фунтов в год — это способность думать, а замок на двери — самостоятельность мыслей — все равно, скажете вы, человеческий ум должен быть выше всего материального, недаром же многие великие поэты были нищими. Позвольте в таком случае процитировать вам мнение профессора литературы, который знает лучше меня, откуда берутся поэты. Сэр Артур Квил-лер-Куч пишет:

«Назовем крупнейших английских поэтов последнего столетия: Колридж, Вордсворт, Байрон, Шелли, Лэндор, Китс, Теннисон, Браунинг, Арнольд, Россетти, Суинберн — пожалуй, достаточно. Из них все, кроме Китса, Браунинга и Россетти, имели университетское образование, а из этих троих один Китс не был состоятельным человеком — Китс, который умер молодым в самом расцвете! Возможно, я излишне прямолинеен — мне больно обо всем этом говорить, — но суровая действительность опровергает теорию, будто поэтический гений дышит одинаково вольно что в бедном, что в богатом. Жестокая действительность такова, что из двенадцати поэтов девять окончили университет: а это значит, что они смогли каким-то образом обеспечить себе лучшее образование, какое могла в то время дать Англия. Из остальных троих Браунинг, вы знаете, был человеком со средствами, и я готов поспорить, что в противном случае ему б не удалось написать своего «Саула» или «Кольцо и книгу», как, впрочем, и Рёскину своих «Современных художников», если бы его отец не преуспел в торговле. У Россетти же был небольшой капитал, и, кроме того, он мог зарабатывать живописью. Остается нищий Китс, павший жертвой Атропос, как позднее это случилось с Джоном Клером, кончившим в сумасшедшем доме, и с Джеймсом Томсоном, принявшим с отчаяния опиум. Страшные факты, позор для нашей нации! Но давайте посмотрим им в лицо.

Совершенно ясно, что из-за какого-то изъяна в нашем государственном устройстве у нищего английского поэта уже двести лет нет никаких шансов выжить. Поверьте моему опыту — за десять лет я побывал в более чем трехстах начальных школах, — мы только болтаем о демократии. А в действительности у сына английского бедняка шансов на духовную свободу, в которой и рождаются великие произведения, не больше, чем у афинского раба».[11]

Яснее не скажешь. «…У нищего английского поэта уже двести лет нет никаких шансов выжить…У сына английского бедняка шансов на духовную свободу, в которой и рождаются великие произведения, не больше, чем у афинского раба». Вот так. Духовная свобода зависит от материальных вещей. Поэзия зависит от духовной свободы. Женщины же были нищими не только два последних столетия, а испокон веков. Они не имели даже той духовной свободы, какая была у сыновей афинских рабов. То есть у женщин не было никаких шансов стать поэтами. Почему я и придаю сегодня такой вес деньгам и своей комнате. Правда, стараниями тех безвестных женщин прошлого, о которых нам надо бы знать больше, и, кстати говоря, двум войнам — Крымской войне, выпустившей Флоренс Найтингейл из ее гостиной, и войне 14-го года, распахнувшей двери перед средней женщиной, — дела наши поправляются. Иначе не сидели бы вы здесь, и ваши ненадежные шансы на пятьсот фунтов в год сократились бы до предела.

И все-таки, усомнитесь вы, стоит ли так настаивать на женском творчестве, если оно требует стольких усилий, доводит до убийства тетушек, опозданий к званому завтраку и может даже вовлечь в неприятные споры с авторитетными персонами? Признаться, отчасти мною движут личные мотивы. Как и многие неученые англичанки, я люблю читать все. Но в последнее время мой стол стал скучен и однообразен. Исторические книги все о войне, биографии сплошь о великих личностях, поэзия, по-моему, склоняется к стерильности, а проза — но я уже убедилась на романе Мери Кармайкл, насколько трудно быть критиком современной прозы, и говорить о ней больше не буду. Я прошу вас писать любые книги, не заботясь, мала ли, велика ли тема. Правдами и неправдами, но, надеюсь, вы заработаете денег, чтоб путешествовать, мечтать, и размышлять о будущем или о прошлом мира, и фантазировать, и бродить по улицам, и удить в струях потока. И я вас вовсе не ограничиваю прозой. Как вы порадуете меня — и со мною тысячи простых читателей, — если будете писать о путешествиях и приключениях, займетесь критикой, исследованиями, историей, биографией, философией,

науками. Ибо книги каким-то образом влияют друг на друга, и искусство прозы только выиграет от содружества с поэзией и философией. Кроме того, если вы обратитесь к любой крупной фигуре прошлого — Сапфо, госпоже ли Мурасаки или Эмили Бронте, — вы увидите, что она не только новатор, но и преемница и своим существованием обязана развившейся у женщин привычке писать. Поэтому даже в качестве прелюдии к поэзии ваша деятельность была б неоценимой.

И все же мои мотивы не узколичные: сейчас я это вижу, когда еще раз мысленно взвешиваю ход моих рассуждений. За всеми замечаниями и наблюдениями стоит убеждение — или инстинкт? — что литература — дело полезное и что хорошие авторы при всех их разнообразных грехах — люди нужные. И, предлагая вам сегодня писать больше книг, я подталкиваю вас к делу для вашей же и общечеловеческой пользы. Как оправдать этот инстинкт или веру, я не знаю, неученых философские термины часто подводят. Что такое «реальность»? Нечто очень рассеянное, непредсказуемое — сегодня находишь в придорожной пыли, завтра на улице с обрывком газеты, иногда это солнечный нарцисс. Словно вспышкой освещает она людей в комнате и отчеканивает брошенную кем-то фразу. Переполняет душу, когда бредешь домой под звездами, делая безгласный мир более реальным, чем словесный, — а потом снова обнаруживается где-нибудь в омнибусе среди гвалта Пикадилли. Порой гнездится в таких далеких образах, что и не различишь их природу. Но все, отмеченное этой реальностью, фиксируется и остается. Единственное, что остается после того, как прожита жизнь и ушла вся наша любовь и ненависть. И мне кажется, никому так не дано жить в постоянном ощущении этой реальности, как писателю. Отыскивать ее, и связывать с миром, и сообщать другим — его задача. Во всяком случае, в этом убеждает чтение и «Лира», и «Эммы», и «В поисках утраченного времени». Эти книги словно снимают с глаз катаракту: видишь яснее все впереди; кажется, с мира спала пелена, и он зажил ярче. Можно только позавидовать враждующим с нереальностью и пожалеть разбивших лоб по собственному равнодушию или невежеству. Так что, прося вас зарабатывать пятьсот фунтов в год и добиваться своей комнаты, я убеждаю вас жить в ощущении реальности — захватывающая будет жизнь! Даже если и не передать ее.

Здесь самое время кончить, но по обычаю во всякой речи должно быть заключение. И согласитесь, заключительное слово, обращенное к женщинам, должно быть особенно торжественным и возвышенным. Мне следовало бы умолять вас быть выше, духовнее, помнить о возложенной на вас ответственности, о том,

как много от вас зависит и какое влияние вы можете оказать на будущее. Впрочем, оставим эти высокие слова мужчинам, они произнесут их гораздо красноречивее. Я же тщетно ищу в себе возвышенные фразы о братстве, равенстве, продвижении человечества к вершинам. Вместо этого говорю коротко и буднично — будьте самими собой, это куда важнее. Не мечтайте изменить других — жаль, не умею произнести это возвышенно: Думайте о сути вещей.

И снова газеты, романы, биографии напоминают мне: если женщины обращаются друг к другу, значит, жди какого-то подвоха. Женщины беспощадны друг к другу. Женщины терпеть друг друга не могут. Женщины… но неужели вам еще не надоело это слово? Мне лично — до смерти. В конце концов, ладно: пусть обращение женщины заканчивается какой-нибудь шпилькой.

Но какой? В каком духе? По правде сказать, мне нравятся женщины. Нравятся своей необычностью. Отточенностью. Своей безымянностью. Своей… но так дальше не пойдет. В том буфете, по-вашему, лежат чистые салфетки? А если я сейчас вытащу оттуда сэра Арчибальда Бритвина? Позвольте мне лучше взять более суровый тон. Разве мало я передала вам угроз и мужского неодобрения? Я указала в докладе, сколь низкого мнения о вас был м-р Оскар Браунинг. Что о вас думал в свое время Наполеон, а сегодня заявляет Муссолини. На случай же, если кто-то мечтает о литературе, выписала совет критика о том, что женщинам следует держаться границ своего пола. Я сослалась на утверждение профессора Х, что женщины интеллектуально, морально и физически ниже мужчин. Я передала вам все, что попалось на пути, долго не отыскивая, и вот последнее предупреждение — от м-ра Джона Дейвиса. Он считает, что «с исчезновением потребности в потомстве отпадет и всякая необходимость в женщинах».[12] Надеюсь, вы это себе отметили.

Как еще мне заставить вас всерьез заняться жизнью? Молодые женщины — скажем так, и прошу не отвлекаться, начинается заключительное слово, — вы, по-моему, погрязли в невежестве. Вы ничего не открыли стоящего. Не покачнули ни одной империи, не бросили в бой ни одной армии. Пьесы Шекспира по-прежнему принадлежат не вам, и не вы приобщаете варварские народы к благам цивилизации. А оправдание ваше? В ответ обведете рукою улицы, площади и леса планеты, кишащие черным, белым и цветным народом, занятым в общем круговороте — кто делом, кто любовью, и скажете: у нас много другой работы. Без наших рук моря остались бы нехожеными, а благодатные земли пустыми. Мы выносили, выкормили и дали детство этому миллиарду шестисот двадцати трем миллионам человек,

насчитывающихся сегодня по статистике, а на это, согласитесь, нужно время.

Ну что ж, в ваших словах есть правда — не отрицаю. Но напомню, что с 1886 года в Англии существуют два женских колледжа. С 1880 года замужней женщине позволено иметь личную собственность, а в 1919 году — целых девять лет назад — ей дали и право голоса. И уже почти десять лет для вас открыто большинство профессий. Если вы обдумаете грандиозные привилегии и сроки пользования ими и тот факт, что уже сейчас около двух тысяч женщин в Англии зарабатывают в год пятьсот фунтов, вы согласитесь, что оправдываться отсутствием условий, подготовки, поддержки, времени и денег уже нельзя. Кроме того, экономисты говорят, что тринадцать детей у миссис Сетон — лишек. Рожать женщинам, разумеется, все равно придется, но по два, по три, а не десятками и дюжинами.

А раз так, то, выгадав немного свободного времени и имея в голове кое-какой книжный багаж — знаний другого рода у вас достаточно, надеюсь, не за софистикой послали вас в колледж, — вы должны будете ступить на следующий этап вашего очень долгого, очень трудного и неисследованного пути. Тысячи перьев берутся подсказать, куда вам плыть и что из этого получится. Мое предложение чуть фантастическое, прибегаю поэтому к вымыслу.

Помните, я говорила, что у Шекспира была сестра? Только не ищите ее в биографиях поэта. Она прожила мало — увы, не написав и слова. Ее похоронили там, где сегодня буксуют омнибусы, напротив гостиницы «Слон и замок». Так вот, я убеждена — та безымянная, ничего не написавшая и похороненная на распутье женщина-поэт жива до сих пор. Она живет в вас, и во мне, и еще во многих женщинах, кого сегодня здесь нет, они моют посуду и укладывают детей спать. Она жива, ибо великие поэты не умирают, существование их бесконечно. Им только не хватает шанса предстать меж нами во плоти. Придет ли такая возможность к сестре Шекспира, думаю, теперь зависит от вас. Я уверена: если мы проживем еще сотню лет — я говорю о нашей общей жизни, реальной, а не о маленьких отдельных жизнях, что у каждого своя. Зарабатывая пятьсот фунтов в год и обживая свои комнаты. Развивая в себе привычку свободно и открыто выражать свои мысли. Видя людей, какими они есть, а не только в отношениях друг с другом — и небо, и деревья, и все существующее. Без страха перед мильтоновским пугалом, ибо никому не позволено заслонять простор. Признав, наконец, факт, что опоры нет, мы идем одни и связаны не только с миром мужчин и женщин, но и с миром реальности… Тогда — случай представится, и тень поэта, сестры Шекспира, обретет наконец

плоть, которой так часто жертвовали. Вобрав в себя жизни безвестных предшественниц, как прежде ее брат, она родится. Рассчитывать же, что придет сама, без наших приготовлений и усилий, и выживет, и сможет писать свои стихи — нельзя, ибо это невозможно. Но я убеждена: она придет, если мы станем для нее трудиться, и труд этот, даже в нищете и безвестности, все же имеет смысл.

notes

Примечания

1

В основу эссе легли два доклада, с которыми писательница выступила в октябре 1928 года перед студентками английских колледжей. (Здесь и далее в квадратных скобках — примечание автора, в фигурных — переводчика.)

2

«Нам сказали, что потребуется не меньше тридцати тысяч фунтов… Если учесть, что это будет один колледж на всю Великобританию, Ирландию и колонии, не такая уж большая сумма — столько ли обычно собирают на мужские гимназии? Но сторонников женского образования так мало, что и эта сумма велика». — Lady Stephen. Emily Davies and Gir-ton College.

3

«Каждый пенс, который удавалось наскрести, шел на постройку здания — до удобств ли тут было?» — R. Strachey. The Cause.

4

«Мужчины чувствуют в женщинах слишком сильного соперника и поэтому выбирают глупеньких или невежественных. Иначе чего бы им было бояться образованных женщин?»… Справедливости ради добавлю, что впоследствии, возвращаясь к этому разговору, Джонсон уверял меня, что вовсе не шутил». — Босуэлл. Дневник одного путешествия на Гебридские острова.

5

«Древние германцы верили, что в женщинах есть что-то священное, они для них были чем-то вроде оракулов». — Фрейзер. «Золотая ветвь».

6

«Вообще загадочный и необъяснимый факт, почему в Древних Афинах, где положение женщин мало чем отличалось от положения восточных рабынь или наложниц, театр сумел создать неповторимые женские образы Клитемнестры, Кассандры, Атоссы, Антигоны, Федры, Медеи и других героинь, безраздельно царящих в пьесах «женоненавистника» Еврипида. Этот парадокс — когда женщина на сцене играет равную или ведущую роль по отношению к мужчине, а в действительности не может выйти одна на улицу — нигде не получил удовлетворительного объяснения. Это преобладание есть и в современной драме». Во всяком случае, у Шекспира (и в равной степени у Уэбстера, но никак не у Марло или Джонсона) ведущая роль, инициатива принадлежит именно женщине, начиная от Розалинды и кончая леди Макбет. Картина повторяется у Расина: шесть его трагедий названы именами героинь, и разве кто-то из его героев мог бы стать достойным соперником Гермионы, Андромахи, Береники, Роксаны, Федры, Аталии? И снова у Ибсена: кто из его мужчин сравним с Сольвейг, Норой, Неддой, Хильдой Вангель, Ребеккой Уэст?» — Люкас Ф. Л. Трагедия, с. 114–115.

7

Сесил Грей. Обзор современной музыки, с. 246.

8

«Воспоминания о Джейн Остен» ее племянника Джеймса Остен-Лея.

9

«Она пытается говорить об абстрактном, а это опасное увлечение, особенно для женщины, ибо в редкой женщине есть мужская здоровая любовь к риторике. Странный недостаток у пола, в остальном более примитивного и здравого». — «Нью крайтириэн», июнь 1928 г.

10

«Если вы разделяете авторское убеждение, что романистки должны добиваться мастерства исключительно путем смелого признания ограниченности своего пола (у Джейн Остен, например, это получалось с необыкновенным изяществом)…» — «Лайф энд леттерс», август 1928 г.

11

Артур Квиллер-Куч. Писательское искусство.

12

Дж. Л. Дейвис. Краткая история женщин.

comments

Комментарии

1

Из поэмы А. Теннисона «Королева Мод».

2

Из стихотворения Кр. Россетти «День рождения».

3

«Женщина — сама крайность, она либо лучше, либо хуже мужчины» *(фр.)*.

4

Здесь: подходящая сучка *(фр.)*.

5

Мера писчей бумаги.